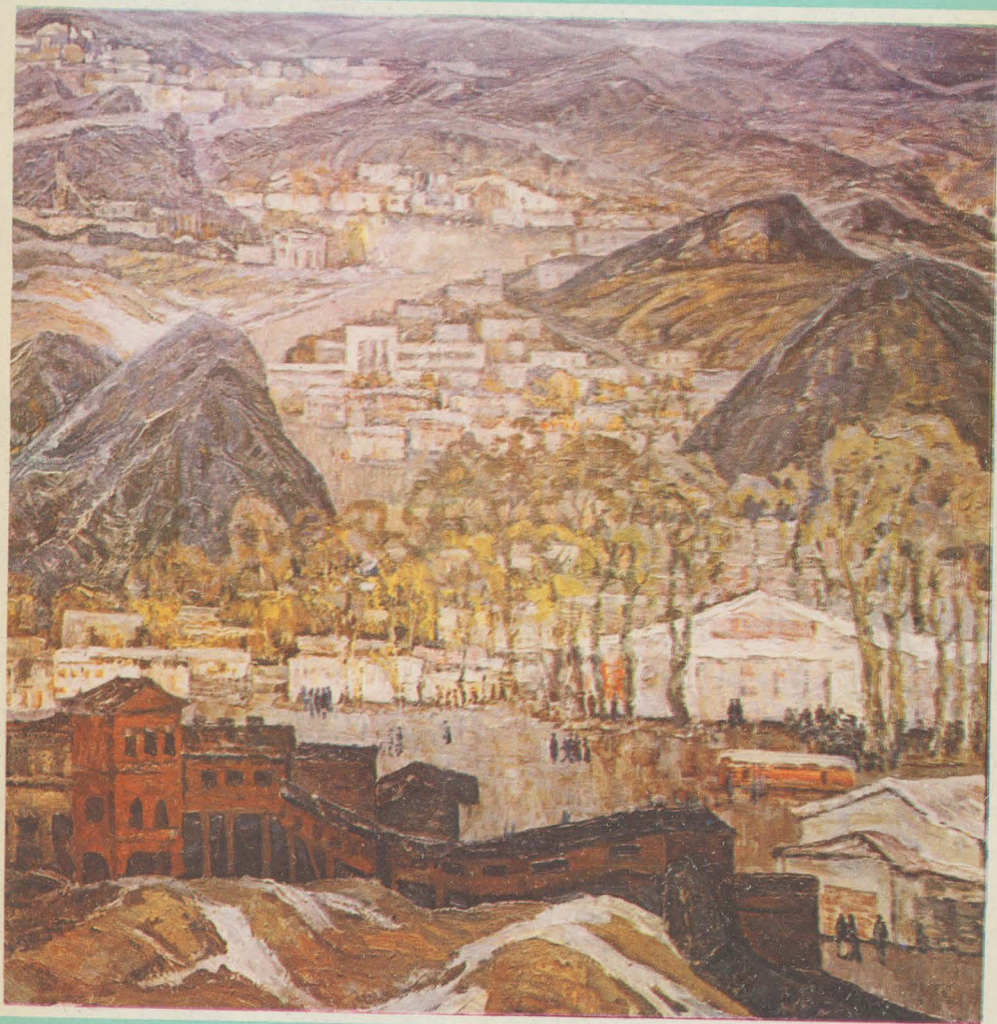


2•1983
Апрель — июнь

ОГНИ
КУЗБАССА





Е. Башарина. «Объяснение». Офорт

№ 2 (79)

Год издания 35-й

Выходит
ежеквартально

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

В НОМЕРЕ

Редактор

Владимир **МАЗАЕВ**

Редакционная коллегия:

Виктор **БАЯНОВ**

Сергей **ДОНБАЙ**

Геннадий **ЕМЕЛЬЯНОВ**

Валерий **ЗУБАРЕВ**

(отв. секретарь)

Владимир **КУРОПАТОВ**

Владимир **МАТВЕЕВ**

Валентин **МАХАЛОВ**

Зинаида **ЧИГАРЕВА**

Геннадий **ЮРОВ**



390494

**ПЕРВЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Кемеровское
книжное

издательство

1983

ПРОЗА

- Владимир Мазеев. Селевый поток. Главы из повести . . . 3
Борис Сняевский. Порученец. Рассказ 20
Владимир Куропатов. Ржавые гвозди. Рассказ 27
Афанасий Гуковский. Вольный ветер. Рассказ 42

ПОЭЗИЯ

- Николай Николаевский. Отпечатки. «Полетел, упал с горы...» Забытое строение. Первый мороз. «Звонкой влажной с трубы водосточной...» «Прекрасная осанка...» Осеннее. «Мост полустерт туманом...» 18
Павел Майский. «Таежные травы поверху обсохли...» «С раскормленную мордой наглаватой...» В поселке Сарбала. «И день пришел!..» 26
Александр Ибрагимов. Из поэмы «На расстоянии любви» Иван Полунин. Собратьям. «Я чувствую песчинкой одинокой...» Исцелите меня...» Ходики 48

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

- Николай Астраханцев. Не переступи порог. Владимир Переводчиков. Должница. Лидия Хруль. Матвей Коробов. Рассказы 50

ПАМЯТЬ СИБИРИ

- Мэри Кушникова. Кузнецкая летопись. Виктор Савин. Эх, древней пляски 58

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

- Валентин Махалов. В краю сорока перекатов 70

ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА

- Владимир Петраш. «Есть у времени тоже душа...» 76

НАШИ ДЕТИ

- Тамара Страхова. Про Дениску 78

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

- Владимир Матвеев. Старомодная. Сногшибательная причина. Из школьного сочинения. Интервью с автоинспектором 80

Адрес редакции:
650099, Кемерово-99,
Советский пр., 40,
тел. 6-26-95, 6-85-14

Рукописи
не возвращаются

Ведущий редактор
Л. В. Глебова
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Корректор
В. А. Лузина

Первая стр. облож-
ки: В. Семенихин. «Шах-
терский поселок». Масло.

Четвертая стр. об-
ложки: Н. Бачинин. Куз-
нецкий пейзаж. Масло.

НАШИ АВТОРЫ

Синявский Борис Васильевич. Род. в 1946 г. в Тюменской области. Окончил Казахский химико-технологический институт. Работает редактором газеты «Комсомолец Кузбасса». Член Союза журналистов СССР.

Куропатов Владимир Федорович. Род. в 1939 г. в с. Кузедеево Кемеровской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор книг прозы: «Пожили-поработали», «Зеленый луч», «Имя отчье» (г. Кемерово) и «Люди с этого света» (г. Москва). Член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

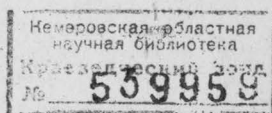
Гуковский Афанасий Иванович. Род. в 1914 г. в Ростовской области. Окончил Ростовский педагогический институт. Участник Великой Отечественной войны. Автор книг «Особый счет» и «Кролики и росوماхи». Живет в Кемерове.

Николаевский Николай Михайлович. Род. в 1949 г. в г. Топки. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Работает в многотиражной газете «Металлургстрой» на Запсибе. Автор книги стихов «Трудный день». Член Союза журналистов СССР.

Майский Павел Николаевич. Род. в 1937 г. в п. Центральный рудник Кемеровской области. Окончил Сибирский металлургический институт и Литературный институт им. Горького. Автор книг стихов: «Взмах крыла», «Сарбалинская рапсодия», «Высокие туманы» (г. Кемерово) и «Солнечная деляна» (г. Москва). Член Союза писателей СССР. Живет в Новокузнецке.

Ибрагимов Александр Гумирович. Род. в 1947 г. в д. Спиченково Кемеровской области. Окончил Кемеровский государственный университет. Автор книги стихов «Буквы одувачика». Живет на Алтае в д. Мульта.

Полунин Иван Стефанович. Род. в 1941 г. в Курской области. Окончил Кемеровский государственный университет. Автор книг стихов «Февральская свирель» (г. Кемерово) и «Прилив» (г. Москва). Живет в Кемерове.



Сдано в набор 11.02.83. Подписано к печати 19.04.83. ОП03238. Формат 70×90/16. Бумага типографская № 3. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,85. Усл. кр.-отт. 6,73. Уч.-изд. л. 7,56. Тираж 7 000 экз. Заказ № 3015. Цена 45 к. Кемеровское книжное издательство. Полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

СЕЛЕВЫЙ ПОТОК

Предваряя публикацию этого отрывка, мне бы не хотелось ни пересказывать сюжет, ни давать характеристики героям моей новой повести «Селевый поток», тем более, что повесть еще не завершена, она в работе. Стоит лишь сказать: действие ее происходит на сибирской земле в наши дни, а в основе сюжета — жизненная драма главного героя Ивана Дреганова. Предлагаемые читателям альманаха главы рисуют некоторые эпизоды этой драмы.

Автор

Помощник горного мастера Шерегешев, шорец по национальности, посланный вниз по склону проверить последний раз трассу и дать ракету, означавшую, что все в порядке и можно открывать створ, вернулся через полчаса в растерянности.

Вскарабкался он наверх, к резервуару, запыхавшийся (крутизна склона здесь была градусов под сорок), пот струился по его скуластому лицу; засунутая под широкий солдатский ремень торчала, на манер разбойничьего пистолета, толстодулая ракетница.

— Тебя что, медведь пуганул? Чего вернулся-то? — спросил его горный, озадаченно глядя на запаленного помощника, жуя набитым ртом. В одной руке держал он кусок хлеба, а в другой — чистую пихтовую щепочку.

Он был босиком, отдыхал.

На базальтовом валуне перед ним стояла испортая грубо ножом рыбная консерва: с делами этого сумасшедшего дня он так и не успел толком ни позавтракать, ни пообедать. Однако ему сейчас и мысли не приходило, что и этот его торопливый перекус прервется — и довольно на продолжительное время.

Шерегешев между тем подошел к резервуару установки, встал сапогом на полоз тракторных саней и, сдернув выгоревший берет, перегнувшись, быстро, жадно обмакнул голо-

ву в воду — раз и другой. Все еще запаленно дыша, отфыркиваясь, сказал:

— Там Дреганов сидит.

— Как то есть сидит, где? — переспросил горный.

— Где! Где! На трассе, где же еще. У сломанной кедр.

— А чего сидит-то? Пьяный, что ли?

— Да незаметно вроде.

— Так что?

— А вот то. Сидит, и все. И даже ноги в воронку спустил.

— Ну вот что, — слегка занервничал горный, кладя аккуратно щепочку, которой он ел консерву, на отогнутую крышку. — Ты мне дурочку тут не пори. «Сидит, и все». Детский сад какой-то! Ты ему ситуацию объяснил, где он, балда лесная, сидит?

— А неужели нет? Счас, говорю, сигнал дам и тебя отсюда, как муху смоег...

— А он?

— Подоляку, говорит, позови.

— Подоляку? На что он ему? Подоляка занят с людьми... Нет, это не детский сад. Это сумасшедший дом... — проговорил горный, поглаживая ладонями колени, сдерживая себя, но все же не сдержался, крикнул высоким не по комплекции тоном. — Да ты-то чего?

— А чего я?! — закричал в ответ Шере-

гешев. — Облаял его с верхней полки да ушел.

— «Облаял! Ушел!» — снова передразнил горный, и его крупное, с тяжелыми надбровьями, загорелое до кирпичной черноты лицо приняло свирепое выражение. — Помощники тоже, мать вашу!.. Время же идет, люди вон ждут, издалека приехали. Взял бы за холку да выбросил с трассы.

Шерегешев в этот момент тянул через голову энцефалитку. Стая паутов, вскинувшись с его пропотелой спины, закружилась над ним звенящим хором, ее тут же отнесло ветром. Освободившись рывком от тесной энцефалитки, он, как лошадь, замотал мокрой взбешенной головой.

— Ты сам иди и брось, а я буду поглядеть! — Маленький и сухощавый, жилистый, от обиды и злости заговорил с акцентом. — Дреганова не знаешь! Он таких, как я, три сам бросит.

Петрович понял, что в шорце заговорило его азиатское упрямство; значит, ничего не попишешь. Может быть, тот лесной пень просто болен, чокнулся, энцефалит укусил, а Шерегешев вгорячах не разобрался. Ну болен болен, а уж под градусом наверняка — иначе ничего не понятно.

Он с тоской смертельно уставшего, не сомкнувшего глаз прошлую ночь человека посмотрел вниз. Обозначенная серией мелких взрывов трасса просматривалась отсюда метров на шестьсот, не меньше. Ниже чернью — кедровый стланик, переходивший постепенно в крупный, высокий кедр, за которым скрывалась трасса.

Выходит, спускаться как пить дать почти километр по крутяку, солнцепеку, по перепутанной, точно проволока бруно, низкорослой акации. Подчас как не бывало. А время и без того поджимает до предела, в пору кусаться. С вечера барахлил насос, потом, когда насос заработал, выяснилось: две трубы в водопроводной нитке оказались с трещинами, пришлось срочно заменить. И все это уже ночью, при свете переносок, потому что утром ждали делегацию гостей, ради которых и затеян был весь этот аврал.

Петрович внимательно оглянулся. Метрах в двухстах на продуваемом склоне гольца сидели, стояли, бродили от безделья человек двенадцать — начальники партий, главные геологи, специалисты горных полевых работ, уважаемые люди, собранные волею управления со всех окрестностей алатауской горной тайги.

Привезший их от поселка вездеход стоял чуть ниже на косогоре, поблескивая стеклами, с подсунутыми под гусеницы валунами — чтобы не укатился вниз ненароком.

Сейчас на часах — шестнадцать без минут; в семнадцать тридцать за ними в поселок прилетает спецрейс, а тут на последних шагах снова заминка, про которую сказать-то совестно.

От группы гостей отделилась высокая сутулая фигура — Подоляка. Руки — в карманах реглана — нарастопырку. По косой тропке стал подыматься сюда, к установке. Ну и чутье у мужика, собачье! Даже издалека в походке его угадывалась нервность, предельная накаленность ситуацией. Можно представить, сколько ему, хозяину, за сегодня пришлось выслушать подначек, веселых вопросов, тонких иронических рекомендаций своих коллег.

Гости от долгого ожидания Подолякинского чуда были уже в хорошем настроении, Петрович сам видел, как между ними прогулялась бутылочка... А тут новая напасть — чокнутый на трассе, смеху подобно. Гости узнают — Подоляке не жить, замучают советами...

Петрович придвинул к себе стоявшие поодаль сапоги, стал торопливо обуваться. Но так, чтобы торопливости этой не заметил Шерегешев, улегшийся в досаде в тень установки, и двое полуголых парней-рабочих, сидевших на стене резервуара, как на недостроенном доме, с округлыми мускулистыми спинами, — загорали, стервецы. Пускай тут перед Подолякой шорец объясняется, любопытно бы посмотреть, как у него получится.

Петрович встал, притопнул обутыми сапогами. С сожалением бросил взгляд на свой недоеденный обед; поколебавшись, сунул ос-

таток хлеба в карман суконной куртки — хоть по дороге дожевать.

Оскользаясь по стланику, тихо матерясь, стал спускаться вдоль рваной, взбугренной линии трассы. Он почему-то надеялся в душе, пока сойдет вниз, никакого Дреганова не окажется: как говорится, пошутили — и будя!

Спустившись до середины горы, поостудив нервы в ходьбе, он в своей уверенности заколебался.

С Дрегановым лично не был он знаком, потому что в партии работает недавно, а вот слышать о нем приходилось. И все же среди многих изустных злых и противоречивых характеристик не было ему характеристики: легкомысленный, несерьезный, шалопай или тем более — дурак. Ибо только этими нелепными качествами можно было как-то объяснить Дрегановский сегодняшний фортель: сесть на подготовленной под сель трассе!

И в алкашках как будто не числился. Слышались в партии разговоры о каком-то судебном деле Дреганова, о его затяжном конфликте с Подoliaкой, тут вроде примешивалось личное. Лезть же в такие дела с расспросами горный мастер не испытывал ни нужды, ни желания — своих забот хватало.

Ивана Дреганова он увидел именно там, где столкнулся с ним и Шерегешев: недалеко от мощного, раздвоенного у самого основания кедра, сломанного давней грозой. Трасса здесь проходила вдоль опушки кедрового массива, корни двух-трех деревьев были обнажены, светились из взрыхленного перерогной желтыми изломами.

Со стороны луговины теснились, напирали жирные высокие заросли медвежьей пучки. Воронки, танующиеся в линию, образовывали неглубокую рваную канаву — направляющую потока. Иван сидел на краю канавы, на вступенном, как слоновый хобот, корневище, упершись локтями в колени.

Было по-летнему знойно, пахло папоротником, терпко нагретой пучкой; припадая к траве, звенела назойливая мухота.

Одет Иван был не по погоде: короткий плащ-дождевик и кожаная кепка — на глаза. Рядом валялся рюкзак.

Под колодиной в тени, в двадцати шагах, лежала собака (Петрович сразу и не заметил) — то ли овчарка, то ли помесь с ней. Прикрыв лапами нос от комарья, дремала.

На хруст шагов спускавшегося сверху горного мастера Иван поднял голову. Многодневная щетина, осыпавшая скулы, и защемленные тугой кепкой волосы, неопратно вылезшие на уши и виски, делали его много старше его тридцати пяти. В темных провалах глазниц посверкивали светлые настороженные точки зрачков.

«Прямо уголовный тип, бесконвойка, — подумал Петрович. — И кажется, все-таки пьян».

В последний раз видел он Дреганова месяца четыре назад, весной в конторе партии — подтянутого, хмурого, чисто выбритого. Столкнулись в коридоре и разошлись. Сейчас вид Дреганова неприятно поразил его и еще больше ожесточил: ну ни дать ни взять — бесконвойка!

— Значит, сидим? — приостановившись, бросил Петрович, оглядываясь, на что бы самому сесть, колени от долгого напряжения спуска слегка дрожали. — Другого места нет?

Иван промолчал.

— Уйди с трассы, добром прошу, нам створ открывать, — сказал Петрович ровным голосом, хотя внутри у него все клокотало.

— Я жду Подoliaку, — подал голос Дреганов.

— Хозяин занят. Если уж так приспичило, сам к нему подымись.

— Он мне здесь нужен.

Петрович увидел невдалеке замшелый пенек, опустился на него, сказал, доставая из кармана смятую пачку «прибоя», заглядывая в нее:

— Вот что, Дреганов, пока я покурю, ты еще подумай. А после — чтобы духу твоего не осталось. Пошутили — и будя!

— Я шутить не собираюсь, — сказал Дреганов низким отрывистым голосом. — Хватит, нашутились. Время слез наступает.

— Чего-чего? — не поняв, переспросил Петрович. — Чьих таких слез?

В грубых изломах Дрегановской брезентушки, на рукавах, груди скапливались лете-

шие густо по воздуху семена пушицы. Он тщательно стал их выбирать, катать между пальцами.

— Может, моих... — произнес он.

— Это верно! Твоих — правильно! Твоих, считай, уже наступило. Вот только докурю.

— ...а может, ваших с Подoliaкой, — закончил Иван и отвернулся, стал глядеть вниз, в разлогу, где поблескивала катучими своими водами Уса.

— Да ты, я гляжу, — фило-ософ, — протянул горный. — Только хватит трепотни! Дело стоит! — Он поднялся решительно с пенька, отбросил окуроч.

Физически был он сильнее Дреганова, опытнее — тяжел, ухватист, лет на двадцать старше, но еще не старик, полковой разведчик в войну, приемов еще как будто не забыл. А главное — правоту свою чувствовал, и злость его распирала от этой дешевой, не понятной ему демонстрации.

Подойдя к Дреганову, он наклонился, ухватил за ляжку лежавший полупустой рюкзач, отшвырнул далеко в траву, — так у лезущего без очереди отшвыривают назад шапку, призывая к порядку.

— И сам следом за ним — немедля! А?!

Иван не дрогнул ни одним лицевым мускулом, не поднял головы, только еще пуще сгорбился.

Петрович цопнул его за отвороты дождевика, с силой приподнял, побагровев:

— Кому сказано!

— Отпусти! — выдохнул Дреганов, не делая попытки освободиться от железных клещей, бледнее губами.

— Что, кобеля натравишь? — запоздало догадался Петрович.

— Не отпустишь — натравлю, — просипел Иван; глубоко посаженные глаза его сошлись на переносе.

— Меня фашисты собаками травили — не затравили, гнида...

Рывок, треск ткани, бешеная в упор сцепка взглядов. Иван, сдавленный напoлзшим под горло воротом, с трудом повернул голову, бросил:

— Дик, чужой!

Пес вскочил, зарывав, — куда и сонливость девалась! — напрягся. Оценив мгновенно ситуацию, пошел полукругом, перебирая узловатыми лапами, приседая в траве, и вдруг, точно брошенный мощной пружиной, ринулся напрямик.

Петрович, все же не ожидавший от Ивана такой подлости, невольно разжал пальцы, запятился.

— Убери собаку, — крикнул он и тут же, зацепившись сапогами, грохнулся через затравенелую сучковатую буреломину в удущливые, сочно захрустевшие заросли пучки навзничь. Визгнула раздираемая ткань; Иван сзади крикнул:

— Дик, фу!.. Фу, Дик! Место!

Со вздыбленной шерстью на загривке пес замер над упавшим, всем своим видом сожалея, что команда запрета поступила так быстро.

— Фашист... Подонок... Уголовщина!.. — выдыхал горный, с хрустом ворочаясь в пучке, отплеываясь. — Ну годи! тебе это отзовется... Это отзовется... — Он грузно поднялся, припадая на ногу. — Счас бригаду приведу.

Лоскут штанов, оголив тело от ягодицы и ниже, потащился за сапогом. Он подхватил его на ходу, остервенело стал засовывать в голенище, приговаривая:

— Собакой... живого человека... Ну не фашист ли...

На полпути он увидел спускавшегося навстречу Подoliaку, за ним, чуть поотстав, гуськом тянулись, припрыгивая на особо крутых местах, Шерегешев и двое парней-рабочих — Конев и Жихарев.

Горный остановился, утирая изнанкой кепки лицо, шею. «Не утерпел начальник... Так-то вот лучше будет. Спустился сам и сам с этой чокнутой сволочью расхлебывайся, а с меня во — хватит».

— Что? — спросил резко Подoliaка, приблизившись. — Так и сидит?.. Ну я уже понял.

— Как вша вцепился, — буркнул тот.

— И ты, Петрович, с твоей сноровкой... — с укоризной протянул Подoliaка. — А еще похвалялся — языка брал...

У Петровича горело расцарапанное сучьями бедро, к тому же терзало уязвленное самолюбие: что ни говори — спасовал.

— Собакой траванул фашист несчастный... ах, дешевка, — сказал он.

— Собаки испугался!

— Испугаешься поди... — Горный мастер, багровея, зло повернулся к Подolyаке наполовину оголенной задницей.

Парни за спиной начальника партии и Шерегешев заодно с ними весело скосоротились, гоготнули.

Подolyака, высокий, нервный, с растопыренными локтями — руки в карманах реглана — стоял, сжатые губы в усмешке. Ветер, свежо и упруго дувший здесь, на высоте, развевал его легкий реглан, открывал светлую, с расстегнутым воротом полотняную рубашку. Будто не он два последних дня рядом со всеми, в грязной спецовке, потный и обросший, закусанный комарем, рвал пуп на водопроводной нитке (рабочих не хватало, трактор на валуннике разулся), сам командовал монтажом резервуара. А сегодня — как огурчик, хоть на кино снимай. И руки в карманах локтями врозь не для шик и позы — просто прячет их. Сбиты в кровь, перебинтованы — стесняется.

— Считаешь — сам не сойдет? — спросил он горного мастера.

— Добром, думаю, нет.

— Я тоже так думаю, — согласился Подolyака. — Пошли.

— Дак, Павел Анатольевич, псина у него — волкодав!

— Идем-идем. Что мы, пятеро мужиков, с одной собакой не совладаем! — ответил на это Подolyака и широко, крупным, привычным шагом полевика запрыгал вниз по склону.

Не дойдя до сломанного кедра, под которым сидел Дреганов, шагов пятьдесят, Подolyака велел всем остановиться и ждать, он попытается сперва сам. Хотя не представлял себе совершенно, что именно скажет, какие найдет слова убедить бывшего друга, что по-

ступок его слеп и безрассуден. Более того — смешон.

Он слишком хорошо знал дрегановскую натуру, мог понять его нынешнее душевное состояние — ожесточившегося, озлобившегося, — чтобы не почувствовать всей серьезности его действительно слепого и действительно безрассудного шага.

Но и зная Дреганова, к такому повороту событий Подolyака не был готов. Подкараулил же момент, гад. Теперь надо действовать предельно решительно. И пока наверху, на горе, ничего не знают, ликвидировать этот нелепый со всех точек инцидент.

Приблизившись к сломанному кедру и увидев меж зонтиками трав чернеющую кепку Ивана Дреганова, Подolyака в тот же момент услышал приглушенное собачье ворчание.

Иван поднял голову.

— Придержи пса, — сказал, замедлив шаг, Подolyака. — Потолковать надо.

Иван, глядя на него хмуро из-под низко надвинутого козырька, молчал. Собака, от его ног сделав два прыжка, остановилась в напряженной, угрожающей позе — ждала голо-са хозяина.

— Ты понял меня, Дреганов? Отзови пса. Разговор есть.

— Разговор теперь у нас с тобой, Подolyака, короткий, — сказал Иван. — И пес ему не помеха.

— Ладно, пусть будет короткий, время дорого, — сдержанно согласился Подolyака.

— Так вот, — сказал Иван. — Ты сейчас дашь команду стравить из резервуара воду обратно в ручей, а резервуар, всю установку, демонтировать.

Он снял кепку, поерошил ладонью слежавшиеся волосы, снова тщательно надел, выравнивая козырек.

— Не просто отбуксировать вниз, а демонтировать, разобрать.

— У тебя все? — усмехнулся Подolyака, ловя себя на том, что невольно оказался в унижительной позиции стороны, выслушивающей ультиматум.

— Зачем ты собрал этих людей? Передовым опытом поделиться? — спросил Иван.

— Не я собрал, а управление. Я еще такой властью не обладаю.

— Значит, будешь обладать. Если, конечно, твоя сегодняшняя показуха удастся... Так зачем, я спрашиваю? Чтобы завтра вся алатауская тайга была селью смыта?... Ты давно был в долине Загадного? Советую побывать, а лучше всего свозить туда своих высоких гостей. Русла, оставшиеся от ваших селевых трасс, уже съели половину склонов. Вымытый мертвый слой, эта самая глина-синюха, заилила долину. Там теперь пятьдесят лет травинки не вырастет. Лесничий рассказывает, в селевой грязи утонул лось. Лось! Этот лесной танк, который болота переходит!

— Даром ничто не дается. Все известные тебе знаменитые пустыни земли — места древних цивилизаций, — усмехнулся Подоляка. Усмехнулся не столько демонстративному цинизму своих слов, сколько обстановке, никак не располагавшей к подобной дискуссии.

— Стыдиться человеку надо бы таких аргументов, Паша.

— Стыдиться? Тогда давай стыдиться вместе. Не ты ли, Ваня, предложил этот метод?

— Я не предлагал. Я только одну канаву... В безвыходном положении... А ты подхватил, понес.

— Не я, Ваня, а жизнь подхватила.

— Жизнь тут ни при чем.

— Вот я и говорю: сам ты, друг мой, выпустил джина из бутылки.

— Ты же прекрасно знаешь, какие меня вынудили обстоятельства.

— Знаю. Спасал горный цех от финансового краха. Зарплату платить было нечем. Спас, в герои вышел. А меня что вынуждает — не те же обстоятельства? Мне, что ли, лично нужны эти метры?... Вот ты лося пожалел. Лось — тьфу! Его бы все равно браконьеры застрелили. А мы нынче одной установкой, которую обслуживают пять всего человек, вскрыли три рудопроявления: меди, железа и висушта. Понял? Когда такое бывало, чтобы впятером и за один сезон!

— Во-первых, рудопроявление — это еще

не месторождение. Во-вторых, вы бы вскрыли их и обычным методом. Правда, план ваш не имел бы сумасшедших показателей в пятьсот процентов. И соответственно сумасшедших заработков. А в-третьих, все эти вскрытые рудопроявления в конечном итоге не стоят этого кедрового склона, по которому вы готовы пустить селю.

— Знаешь, Ваня, — сказал Подоляка, — я не специалист в области экологии, но мне сдается, в рядах защитников природы все больше становится воинствующих дилетантов, ты не находишь?

— Воюю как умею. Другие способы мне, ты знаешь, сейчас недоступны. Я же условник.

— Если ты под «другими способами» имеешь в виду твоей идиотский поджог селевой установки, то все правильно. Благодарю суд, что не посадил за решетку, а только условно.

— Это ты благодари.

— А я-то за что?

Иванов взгляд угрюмо утонул в глубоком, презрительном прищуре:

— За то, что я сейчас даже вот морду тебе набить не могу, — сказал он.

— Ты бы полегче, а? — сказал Подоляка, с трудом сдерживая напившее раздражение.

— Ничего, переживешь. Шкуру ты себе нарастил крепкую.

На минуту повисла гнетущая пауза. Оба они, каждый по-своему, боялись, чтобы, не дай бог, не прозвучало сейчас из уст другого имени Яны. Иначе тяжелый разговор этот сорвется в такое подленькое, мелкотравчатое русло, в котором будет выкупана и Яна, и они сами на виду посторонних людей.

Собака, стоявшая на полпути между ними, сначала села, потом легла, высунув длинный, желобком, язык. Хозяин разговаривал с новым пришельцем довольно мирно, и в ее помощи как будто не нуждался.

— Так что иди, — сказал Иван, — и всей своей съехавшейся братии объяви: кина не будет.

— А вдруг не пойду?

— В таком случае, Павел Анатольевич, вы слишком долго заставите ждать своих гостей. Это негостеприимно.

— Сколько же прикажешь? Час? Два? Али аж до заката ты здесь устроился?

— Пока не сойхну,— сказал Иван.

И тогда Подолька, напрягая на лбу вены, отчетливо произнес:

— Нет, ты сойхнешь не от ожидания. Ждать мы не будем, не надейся! Я даю команду открыть створ. Ты понял? Сиди, черт с тобой. В конце концов, ты предупрежден, не мальчик.

Иван вынул папиросную пачку, стал закуривать. Даже издали было видно — пальцы подрагивают. После глубокой, жадной затяжки сказал:

— Ну что ж, все правильно. Убийца в тебе уже созрел.

Подолька от этих слов тихонько заколо-тило. Он окончательно понял: Иван Дреганов готов на все. Перебинтованные руки его в карманах реглана невольно сжались. Зря он затеял эту старую тяжбу — результат был предопределен.

— Какая же ты, Ваня, погань,— сказал он уже с плохо скрываемой яростью.— Я все же надеялся, что в тебе капля здравого смысла осталась. Но учти: красивой жертвы за идею у тебя не получится. Итог будет самый водеvilный. Мы сейчас тебя скрутим, спеленаем, как куклолку, и положим в сторонке. Лицом к трассе, понял? Чтобы ты, дерьмо, своими глазами еще раз убедился: хозяева здесь — люди, которые делают дело, а не жалкие трясущиеся неврастеники.

Он обернулся, призывно взмахнул рукой. Когда все четверо приблизились, столпились за спиной, Подолька велел запастись каждому крепкой палкой.

Через несколько минут они снова сошлись на тропе — кто держал в руках отпавший кедровый сук, кто, посмеиваясь, просто кривую коряжину. Сам Подолька вооружился тонким стволом засохшей пихточки с утолщением в комле — ни дать ни взять первобытная палица.

Только Шерегешев вернулся пустой, про-бормотав, что ничего подходящего не попалось, отступил, стал в отдалении.

А четверо рассредоточились цепью и, угрожающе подняв свое оружие, шумно, с под-

задоривающими матерками пошли на вско-чившую в растерянности собаку.

Подолька размахивал своей палицей, с хряском валя высокую стеблистую пижму. Пес, злобно взлаивая, ошалело бросался из стороны в сторону, путаясь в хлещущей по глазам траве. Раза два он затравленно оглянулся на хозяина. Иван сидел по-прежнему на коряжине, расставив колени, бледный.

— И-ех! И-ех! — вскрикивали наперебой нарочито бодрым тоном парни, шаг за шагом подступаясь, тыча в пса палками, осатаневшего от такого нашествия агрессивно настроенных людей.

Извернувшись, пес ухватил зубами палку Жихарева, рванул пятак. В этот момент подскочивший сбоку Подолька со всего маха ударил пса по его вихлявшему от напряжения заду.

Взвизг, бешеное рычанье — пес от удара перекатился через спину. Хотел вскочить, но только заперебирал судорожно лапами, валясь на бок. Из открытой ощеренной пасти потекла перламутровой пленкой слюна.

— Вот так-то! — произнес Подолька, отдуваясь, как после трудной, но успешной работы.— А теперь займемся хозяином.— И медленно пошел вперед, волоча за собой, не решаясь еще отбросить столь удачно сработавшую палицу.

Иван, тяжело и как бы нехотя наклонившись, сунулся куда-то в сторону, в траву.

Когда он снова резко выпрямился, встал в рост — все увидели в руках его блеснувшее воронеными стволами ружье.

Четверо опешили.

Металлически резко в наступившей тишине (лишь собака в отдалении поскуливала) дважды щелкнули взводимые курки.

— Каждый... кто хоть на шаг еще... — медленно, точно дробя зубами слова, проговорил Иван и повел стволами.

Горный мастер, рядом с которым оказалось дерево, первым резво нырнул за широкую стволину. Конев и Жихарев, роняя из рук палки, запятались в травяные дудковые заросли. Оттуда Жихарев, преодолев первый испуг, крикнул с веселой дрожью:

— Братцы, да он же бешеный, из дурдома сбежал, кланусь.

Напротив Ивана остался только Подоляка. Их разделяли два десятка шагов голой взрыхленной земли и альпийского пахучего разнотравья, в котором по поясу стоял Подоляка.

— А тебе, начальник, — особое приглашение?! — голос Ивана сорвался в горловом придушенном яростью хрипе. — А но — попытаться!..

Подоляка не двигался; заворуженно глядел на побелевшую в ногтях левую руку Ивана, поднимающую тяжелые стволы, — неужели посмеет?!..

— Ты что, Дреганов?..

Жаром громыхнул выстрел, прокосив дробью к ногам Подоляки просеку в мясистой траве.

«Он что, ополоумел?!»

Второй заряд, опавнув горячим, ударил ближе, под самые подошвы — в голенища сапог хлестнуло землей, перебитыми стеблями. Подоляка почувствовал, как больно зажгло, защемило мизинец на правой ноге.

Тугой эжектор со звоном выбросил далеко за спину Ивана дымящиеся гильзы. Никто не успел прийти в себя, как он безошибочно точным движением вбил в казенник два новых патрона.

Под распахнувшимся при этом дождевиком блеснул медью плотно набитый поясной патронташ.

У Подоляки взбухла на виске жила. В какой-то момент боль в мизинце, видать, заде-том дробинкой, стала нестерпимой, он сцепил зубы.

Борясь с инстинктивным позывом отвернуться, упасть, спрятаться от направленных теперь уже в самую грудь неотвратимых стволов, проговорил, глуша рвущийся откуда-то из глубины живота страх откровенным презрением:

— Дурак. Идиот. Маньяк сумасшедший. Выходит, убийца не во мне, а в тебе созрел, сволочь!

И медленно, очень медленно повернувшись, стараясь не припадать на правую ногу, сгорбленно зашагал прочь.

За ним молча, ошарашенно потянулись остальные...

* * *

От города до районного рабочего поселка Раскат они летели на стрекочущем тихоходном биплане.

Иван сидел плечом к окошку, возле другого его плеча, приклонив голову, спал или — не понять было — просто подремывал от качки и слабости Лёнька. У Ивана затекла рука, он не менял положения, боясь потревожить мальчишку. Даже толстый, с начесом, шерстяной костюмчик не мог скрыть худобы его ног: коленные чашечки выпячивались, как голыши.

Скосив глаза, Иван упирался взглядом в мысочек волос и ложбинку ужасающе тонкой, неловко изогнутой шеи — острым коготком впивалось в сердце отчаяние: это же его сын, его кровь, и острые под ладонью ребрышки — тоже его, Ивановой, плоти!

Он с усилием отворачивался к окну. Перкалевая обшивка, нервно трепеща в воздушном потоке, вздувалась. Казалось, крыло изнутри накачивают, и тонкий, как бумага, перкаль того и гляди лопнет.

Медленно и выпукло текла вниз земля; россыпь пригородных поселков сменялась вспахан-ными холмами. Вдруг совсем близко проплыли клубящиеся жерла труб цемзавода. Пепельная тень расходящимся конусом лежала поверх полей, поверх кустарниковых зеленых склонов, четко обозначая розу дующих здесь ветров. Рысиной рыжей шкурой растеклось по окрестным логам водохранилище угольного разреза; пирамиды отвалов выглядели кусочком лунного глобуса.

Багровая лента полужато-опленного пульпой березняка и осинника создавали картину воспаленной раны.

Все, на чем бы сейчас ни остановился Иван, было хрупко, ненадежно, отторгало глаз, ищущий успокоения, а всего хрупче и ненадежней была жизнь прислонившегося сейчас к его боку сына. До того, что каменели мышцы, как это было с ним, с Иваном, когда он провалился в выработку и висел,

придерживаемый надломившимися горбылями, не смея шевельнуть ни рукой, ни ногой и только оцепенело слушая, как обрушивается вниз, в могильную под ним пустоту, деревянное гнилье.

Два с половиной года скитаний Леньки, из его одиннадцати прожитых на свете лет, по больницам и санаториям, сделали свое дело. Он ослаб физически настолько, что с трудом держал в руках стакан, ходить совсем почти не мог, больше сидел или лежал. Говорил неохотно, и в отрывистой, какой-то болезненно трудной речи его было мало грамматической связи — из-за стремления сказать покороче, что ли? И эта прижившаяся в нем манера была вызвана не только тем, что даже разговор его утомлял.

Здесь, пожалуй, больше шло уже от внутреннего, душевного надлома.

Как полагали врачи — да и сам Иван догадывался, — от неизвестно с чего охватившего одиннадцатилетнего мальчишку равнодушия к своему затянувшемуся недугу. Это и было самым тревожным. Если нянечка спрашивала его, почему он не хочет на прогулку, гляди, на улице теплынь, солнышко, благодать, он полминуты смотрел на нее пристально, потом отвечал с паузами: «Не очень так — полежу — пусть».

Иван, приходя к сыну, поступал решительней. Брал его на руки и выносил в садик на скамейку, а если было холодно, непогода — в лоджию или на лестничную площадку. Ленька в пути морщил губы. «Вот еще, папа, — докуда — чепуховина — зачем-то меня», — говорил он в несколько дыханий и жмурился на свет.

Или сосед по палате, такой же мальчишка, только с «нормальной» болезнью, роясь в присланных родителями гостинцах, кричал из угла: «Эй, Ленька, жевачку хочешь — апельсиновая!» — «Не», — тут же говорил Ленька, медленно после этого переводя глаза со стены, где он рассматривал трещинку, на угол соседа: на вопросы, которые удовлетворялись односложным ответом — да или нет, — отвечал он охотней и без томительных пауз.

Иван пытался говорить с докторами, к которым попадал на обследование или кон-

сультацию Ленька, но те всякий раз уходили в туманную терминологию, ссылаясь на диагностическую нечеткость, отсутствие аналога, на массу других приводящих обстоятельств; словом, темнили.

Один только лечащий врач с короткой фамилией Лата, на вид ровесник Ивана, белая шапочка чуть небрежно надвинута на гладкий выпуклый лоб, в очках — крупные очки с тяжелой оправой на слегка горбатым носу как бы на вырост, — лишь он не пытался наводить тень, не впадал в рассуждения.

Он, этот Лата, вообще ни на какие Ивановы вопросы не отвечал. Он задавал их сам. Причем, задавал жестко, напористо, часто с неожиданной стороны. Как отметил себе сразу Иван, бил по кливажу. В шахтерском деле бить по кливажу значит находить такой угол удара, при котором горная масса легче раскалывается. Его интересовало исключительно все, что не находит отражения в истории болезни. Обстановка, окружавшая Леньку дома. Добольничные, то есть дошкольные привычки и странности, ибо он попал в больницу, едва успев поступить в первый класс. Отношение к домашним животным, к природе, дружба со сверстниками, с девочками. Обстоятельства рождения.

Иван при этом терялся до испарины в лопатках и злился про себя — да откуда ему помнить! Откуда знать обстоятельства рождения — ведь не он рожал! Ну доктор, ну зануда, какие профессора ему мозгу сдвинули?

Конечно, Ивану трудно сейчас сказать, были ли у Леньки в друзьях девочки, если видел-то он его в добольничный период два раза в году; какие он любил игрушки — пассивные или активные, если все привозимые Иваном подарки (игрушки в том числе) тут же становились достоянием чуть ли не всего детдома — жадностью Ленька, слава богу, не отличался.

Лата будто поставил себе целью внушить Ивану, что тот не знает своего сына, всего того, что с ним происходило. Не только в годы пребывания его в детском доме, но и раньше, когда жива еще была Любава, и

Ленька жил в семье, и Ивановой обязанностью было таскать сына в комбинат, если позволяла смена.

И правда получалось, что не знает. Правильно ли мальчишке в комбинате? А кто его знает, мал ведь был. Из всех сил поднатужившись, смог лишь припомнить, как однажды, приведя Леньку из яслей, заметил, что у того какой-то слипшийся сальный чубик. Спросил мимоходом, в чем дело. Ленька объяснил угрюмо-простодушно: «Я не хотел супа, и тетя меня макнула». Факт этот, вероятно, ничего доктору не сказал, а Ивану вдруг надоела эта исповедальня по мелочам, и он замолчал, замкнулся.

Странно было Ивану и то, что Лата ни разу не спросил, как погибла Любава. Должно быть, и этот случай ничего в его концепцию не добавлял. Тут бы Иван мог поведать все до мельчайшей подробности. Семь лет. Они впредссысали в себя всю вторую суетливую половину его жизни — первая без остатка была заполнена Любовой.

Годы притушили боль, а может быть, она просто приняла новые формы. Теперь он шаг за шагом, по крупницам минут, мог бы рассказать тот обвалный, чудовищно несправедливый в его жизни день.

Но даже ему, доктору, профессионально интересующемуся тем, что обычно утаивают, он не открыл бы одной интимной подробности. Она жила, пульсировала в его памяти крохотной, но неутраченной занозой.

В последнюю их ночь, когда они легли, и он привычным уже движением обнял ее, она прошептала: «Сегодня нет». В ответ на его обиженно расслабившуюся руку пояснила: «Ты же знаешь, я после долго не могу заснуть, а мне вставать рано, в четыре часа, я наверняка не высплюсь, а завтра у меня контрольные полеты. Разве я тебе не говорила?»

Говорила, конечно, говорила, все уши прожужжала, но он эти вещи как-то не связал, не видел в них связи. И вот пожалуйста — налицо мелкий рецидив его мужского эгоизма.

Рядовая, рутинная в супружеской жизни вещь! В другое время он просто бы прикрыл

свое отступление шуткой. Ладно, не первый раз, перетопчемся. Но его задело, что снова в дилемме «муж — аэроклуб» она отдала предпочтение аэроклубу.

Дилемма в данной ситуации не стоила выеденного яйца, но человек крепок задним умом: истина эта существует с тех пор, как существует человечество.

И в продолжение всего утра, когда он гоношил себе торопливый завтрак, потом отводил Леньку к Трофимовне, вернее, относил (не хватало терпения вести его на собственных заплетающихся ножонках, хныкающего), а прискакав на шахту, влезал в спецовку, получал в ламповой лампу, самоспасатель, перекидывался шутками с ребятами, словом, делал то, что приходилось ему делать каждый раз, — в продолжение всех этих утренних часов обида нет-нет да и вскидывалась в нем, как газированная вода в питьевом фонтанчике, подмывала, подсказывала потерянные в нужный момент слова.

Он знал, что Любаву окружают там молодые, энергичные, хваткие ребята, летуны, фанатики, без пяти минут чемпионы, однако ревностью себя не травил, не давал ей ходу. Дело было в другом. Леньке пошел четвертый год, и ее увлечение авиаспортом явно затягивалось. Тренировочные дни — это все воскресенья, детский комбинат закрыт, и Леньку приходится подбрасывать чужой бабке, специализирующейся на таких подкидышах, — иногда у нее собирается враз до десяти штук.

Потом его захватил темп работы, погрузчик двигался споро, без долгих остановок, успевай только наращивать транспортер, подгребать просыпавшийся уголь.

Лязг, тушой, лишенный эха грохот, серебрястые жгуты пыли в лучах прыгающих ламп.

Заминка случилась почти под конец смены: угольной глыбой заштыбовало ленту. В тишине, охватившей вдруг сплюснутое пространство забоя, он отошел, присел на корточки, оперся о стойку взмокшевыми под брезентом лопатками.

Эти минуты тишины, когда в освободившейся от тяжелого ритма работы голове снова подначивающе закопошилось вчерашнее,

он всегда потом вспоминал с отвращением к себе. С душевным стоном и осознанием своей ничтожности. Потому что Любавы в эти минуты уже не было.

Из глубины выработки кто-то крикнул, кажется — бригадир: «Дреганов, к телефону!»

Он поднялся, пошел недоумевая, кому это вдруг понадобился, и тут за спиной снова скрежетнул своими лапами погрузчик, и он подумал еще: надо поспешить, напарник один зашестает.

Массивная трубка подземной связи приятно студила разгоряченную ладонь. Звонил дежурный по шахте. Он просил Дреганова подняться на поверхность, зайти в дирекцию. «После смены?» — уточнил Иван. — «Нет, сейчас». — «Так ведь сорок минут осталось». — «Я повторяю: сейчас, немедленно». — «А в чем дело?» — «На подъем, Дреганов, на подъем». Короткая пауза, и дежурный отключился.

— Вот, — проговорил растерянно Иван оказавшемуся рядом бригадиру, качая в руке трубку, — вызывают на-гора...

— Ну что ж, отправляйся. — Не спросил причины, будто знал, и как-то уж слишком напряженно, показалось Ивану, глядел ему в лицо.

При выполнении фигуры высшего пилотажа, в режиме сверхнагрузок, надломилась правая плоскость, ударила по фонарю кабины. Возможно, этот удар оглушил Любаву, а может быть, только заклинил фонарь.

Стоявшие на летном травяном поле с оцепенением смотрели, как самолет, мгновенно потеряв свои логические очертания, пошел бешеным винтом к земле. Все страстно ждали: сейчас... сейчас от него отделится фигурка, и вспыхнет над ней белый бутон парашюта! Сейчас... Секунда. Две. Три. Четыре... Все! Поздно!..

Столб земляной пыли за дальней границей поля, в березняке. Плавно кружащийся над макушками берез кусок обшивки, точно поднятый ветром газетный лист...

Руководитель полетов, высокий седоватый человек, выронил из руки микрофон, прижал к глазам побелевшие кулаки...

* * *

Очередь за пивом была большой, но Иван все же решил стать, пропустить кружечку. К водке он был равнодушен, пил только по случаю, пиво же, особенно бочковое, особенно в жаркий день, уважал.

Круглый и цветной, как восточный шатер, павильон из волнистого пластика, торговавший пивом, именовался «каруселью» и стоял в скверике, на бойком месте, между кинотеатром и универсальным магазином; дальше vzdымал косые осветительные мачты стадион. По асфальтированной аллее сквера, мимо карусели, густой непрерывной толпой шли прохожие.

Пиво разливалось по кружкам быстро, ибо подавалось под большим напором, а отстоя дожидаться никто не хотел. Однако очередь, несмотря на это, двигалась медленно. Получалось, что очередь не за пивом, а за кружками, которых не хватало. Сначала Иван думал ограничиться одной кружкой, но, простояв двадцать пять минут, решил, что возьмет две.

В павильоне было разноцветно, как в волшебном фонаре, душно, пахло дрожжами и нагретым пластиком. У пяти-шести стоявших впереди мужиков лица были оранжевыми, дальше шел ряд синих, потом розовых. Те, которые уже приближались к бочке, становились зелеными. А какого же цвета я, усмехнулся Иван. Судя по соседу — бледно-фиолетовый, цвет законченного алкоголика.

Иван редко выбирался из своего окраинного рудничного района и сейчас с интересом смотрел то на радужную очередь, то в окно на текущую по аллее толпу.

Стояли теплые первые весенние дни. Легкие светлые одежды женщин придавали толпе праздничный и даже праздный вид — ни дать ни взять южный приморский город, а не индустриальный сибирский центр.

Провихляли на великах мальчишки, весело ерзали на седлах-тычках их тощенькие джинсовые зады. Иван поморщился: с некоторых пор при виде каждого здорового пациента Ленкиного возраста к сердцу его подкатывала тоска: эх, Ленька, Ленька!..

Когда Иван решил уже, что возьмет три кружки, он заметил вдруг наallee знакомое лицо: узкий, с горбинкой нос, массивные очки на вырост — Лата! Идет не торопясь и главное один, кажется. Решение созрело мгновенно. Иван выбежал из карусели, крикнул: «Юрий Валентинович!»

Лата не удивился приглашению, хотя вне больницы они встретились впервые. Он также понял сразу: молчаливым смакованием пива встреча не ограничится.

Они устроились в пестренькой тени карагача, на реденькой и теплой на ощупь, приплюснутой травке, поставив пенящиеся губастые кружки на два валявшихся здесь кирпича.

Лата был в тонкой ажурной рубашке с закатанными рукавами, спортивного покрою брюках. Без традиционного халата и шапочки выглядел моложе, хотя у него и обнаружилась лысинка, и вообще шевелюра его напоминала травку, на которую они сели.

Обменялись замечаниями о качестве пива. Свежее. Ничего. Терпкости маловато. Ага, маловато, недодержали пивовары. Понятно: торопились, план поджимал. Но ничего, пить можно. Ага, можно, бывает хуже. Пауза. Был недавно в Чехословакии, водили нас в кабачок Швейка... Ну — там могут. Там — мастера...

Потом, поглядывая на мачты, наклонившиеся словно от тяжести облепивших их прожекторов, поговорили о перспективах местного «Шахтера». Оценки и тут совпали. Первой лиги не видать, как ушей. Ага, не видать, а жаль. Спорткомитету невыгодно. Это точно, невыгодно. Нынче все так — с выгоды. Допусти наших в первую — с той половины страны сюда команды на игры вози, а наших туда. Страшное дело. На одних авиабилетах в трубу вылетишь. Это точно, вылетишь. А бывало...

Иван хотел поймать такой тон разговора, который бы дал гарантию откровенности, полного, как говорится, взаимопонимания. Он хотел хоть черной, но правды. Иначе и затевать не стоило. Кажется, тон нащупывается... И мужик вроде ничего, не заносистый.

Вот что значит свежее пиво, нейтральная обстановка и не при исполнении...

Он подцепил обе опустевшие кружки, побежал в карусель добрать оставшееся (у него заплачено было за два литра). Вернувшись и ставя перед Латой на его кирпич наполненную кружку, проговорил смущенно:

— Извините, забыл, какая ваша.

— Пустяки, — сказал Лата. — В данном случае это без разницы.

«Нет, точно, свойский мужик. С ним можно».

После паузы, протяженностью в первый дружный, аппетитный глоток, Иван сказал:

— Юрий Валентинович, я понимаю, что есть такая штука — врачебная тайна. Но речь идет о моем сыне. Два года и десять месяцев не вылезает он из палат, хотя у него вроде нигде не болит. Никто ничего определенного сказать не хочет, а мальчишка тает на глазах, я же вижу. И ваши вопросы...

Лата подтолкнул очки указательным пальцем, сказал:

— На мои вопросы вы не обращайте внимания. Даже можете на них не отвечать. В последний раз вы так и поступили. Я не в претензии.

— Но для чего-то вы их задаете?

— Разумеется.

— Что, тоже тайна?

— Нет. Это — нет, не тайна.

— А что же тогда?

Лата сделал глоток, осторожно вернул кружку на место.

— Если хотите — метод. Впрочем, метод — сильно сказано. Это поиски метода. Блуждание в потемках.

— Ничего себе, — разочарованно протянул Иван.

— Да, именно. Вы, насколько я понял, хотите, чтоб я был искренен. Тогда слушайте. Мне тоже тяжело смотреть на страдания вашего сына, хотя, как вы уже сказали, у него нигде не болит. На ваши страдания. Ленкина болезнь для нас загадка. Что-то вроде тунгусского метеорита для астрономов. Мы не знаем, что с ним произошло. Но что-то же произошло. Он потерял интерес к жизни. Образно говоря, к ее вкусу и запаху, к

ее необходимости. Это в его-то возрасте... Я пытаюсь нащупать истоки...

— Но не с момента же зачатия, — усмехнулся Иван.

Лата внимательно посмотрел на него, сказал:

— Одна женщина, не очень грамотная, пришла ко мне с девочкой, которая вдруг в семь лет стала заикаться. Я спросил ее, не предполагает ли она причины? Знаю, говорит, это испуг на нее повлиял. — Когда же это случилось? — спрашиваю. — А это, говорит, я еще на третьем месяце была, и меня в темном подьезде сильно напугали.

— Ну — то все-таки на третьем месяце, — протянул Иван.

— Китайцы, между прочим, возраст человека считают не со дня рождения, а со дня зачатия — так-то. А корни их медицины — во тьме тысячелетий.

— Ну хорошо, ладно, допустим. А что же говорит вам ваш метод в случае с Ленькой?

— Да дело именно в том, что нет еще никакого метода, я же поправился... А вот мои соображения другого плана. Ленька родился в тяжелом по загазованности районе города, там же провела детство его мать, ваша жена.

— Моя жена умерла совсем по другой причине, — хмуро проговорил Иван, кусая травинку.

— Я знаю, она погибла, — сказал Лата.

— Зато сам я родился в алатауской тайге. И даже, как рассказывали родители, в лесном балагане, на кедровой подстилке, — проговорил Иван с некоторым даже вызовом. — Что это может означать?

— Возможно, только то, что ваше начало в сыне оказалось слабее. Поймите, мне трудно вам что-то объяснить, приходится упрощать, приводить рутинные примеры. И я же предупреждал: брожу в потемках.

Помолчали.

— Я убежден, — продолжал Лата, — все, что нужно человеку для выздоровления, заложено в его организме природой.

— За чем же тогда дело стало?

— За малым, — усмехнулся Лата. — Разбудить эти защитные силы.

— Вот и будите, чего же не будите?

— Я заметил такую особенность, — сказал вместо ответа Лата, — чем больше людей лежит в одной палате, тем труднее их лечить.

Потом он стал говорить что-то насчет порога сопротивляемости в Ленькином организме, который близок к нулю, но Иван его уже не слышал. Он то брал в руку кружку с пивом, то, не пригубив, отставлял: не шло в горло. Предчувствие надвигающейся беды немолимо становилось реальностью.

— Вы мне вот что скажите в лоб, — перебил он довольно грубо, — поможет ваша медицина Леньке или нет? Выздоровеет он?

— Я, по-моему, сейчас только то и делаю, что говорю это, — пробормотал Лата.

— Значит, я непонятливый... Так — как? Да или нет? — Иван хотел было добавить, что ему без Леньки, без сына, нет жизни, но тут же понял: не сможет произнести эти слова вслух. Они — не для произношения. Вместо этого он только погладил ладонью горло — мучительный жест ожидания предreshенного.

В полусотне шагов стучала каблучками, шаркала подошвами, разговаривала на ходу и смеялась садовая аллея. Иван с напряжением отвел глаза от этого живого, энергичного мельтешения туда-сюда людей.

— Что же... делать?... — растерянно проговорил он. Как ни был Иван подготовлен к худшему, молчание Латы его ошеломило.

— У вас на родине, в этой самой алатауской тайге, кто-нибудь есть?

— Там живет мой отец, — сказал Иван.

— Хорошо. Вот вам совет, если хотите. Забирайте мальчишку, уезжайте туда, к отцу. Поверьте, лекарства ему не нужны. Ему нужно другое. Постарайтесь внушить, что он здоров. Заинтересуйте его живой жизнью, природой. Как — я пока не знаю. Я знаю только, что в больничной атмосфере этого не сделать. Если и есть шанс, то он именно в том, что я предлагаю. Перед отъездом зайдите, обговорим окончательно. Как вы к этому относитесь?

Аллею заполнила группа молодежи. Впереди шли две девчонки с прямыми, льющимися на спину волосами, красивые, строй-

ные. За ними парни и девчонки — вперемешку. Долговязый вьюнош, скособочившись, тащил магнитофонный ящик, вертелись касеты. Ящик бодро, синкопически грохотал, будто катили сервант с посудой.

— Я понял, я найду к вам, — тяжело, с усилием, сказал Иван.

* * *

Поднявшись к селевой установке, Подолька молча, с ожесточением сел на валун, стал перебинтованными руками сдергивать сапог, морщась от рвущей ногу боли. Последние сотни метров подъема он не в силах был скрыть хромоту, и торопившиеся за ним подчиненные — горный мастер Глуховцев, его помощник Шерегешев, рабочие Конев и Жихарев — недоумленно переглядывались, не все понимая в произошедшей на их глазах ситуации.

Но сильнее физической боли мучило Подольку, приводило в едва сдерживаемое бешенство чувство унижительного бессилия, которое ему пришлось пережить только что, на глазах четверых своих подчиненных. Струсил, отступил, ударился в бегство. Это он-то, Подолька! И перед кем?.. Ну, Дреганов, ну, подлючая душа. Высидел момент... С другой стороны, не лезть же на стволы сумасшедшего.

— Жихарев! — позвал он, разматывая бережно портянку, уже слегка пропитавшуюся кровью. — Быстро туда, — он махнул властной головой в сторону склона, откуда хорошо обозревалась значительная часть подготовленной под сель трассы и где расположились многочисленные гости, — Бахрушина ко мне... Стой! Никому там ни слова, ни намека. Задержка чисто техническая. Живо!

Он потрогал мизинец — пронизало огнем до самого колена. Запекшаяся кровь не давала возможности рассмотреть рану. Из стенки резервуара сквозь щель в плахах, в том месте, где был плохо сшит брезент, крутым фонтанчиком искрилась вода.

Подолька подхромал и, держась за стенку, обмыл мизинец. Ранка оказалась на самом суставе, и она была чуть заметна.

— Кто зашивал брезент? — спросил он, вернувшись и снова утвердив себя на валуне. Ответа не последовало, он добавил: — В следующий раз за такую халтуру... — Вынул носовой платок, оторвал полоску, стал забинтовывать мизинец.

Вскоре пришел Бахрушин, главный инженер партии, грузноватый, тяжелый. Несмотря на жару, в темном костюме, при галстукке. Голову же прикрывала от солнца легкомысленная пляжная шапочка с целлофановым козырьком. Отпыхиваясь, тревожно спросил, еще не доходя:

— Это что, правда?

— Что именно? — Подолька головы не повернул, занимался своим мизинцем.

— Дреганов появился... В тебя стрелял?

Подолька повел глазами в поисках Жихарева, тот, дурашливо прячась за спину Бахрушина, оправдывающе выкрикнул:

— Да я же, Павел Анатольевич, тока своему, тока главному!

— Все равно трепло, — не принял его объяснений Подолька. — Никто в меня не стрелял. И все твердо усеките: никакого Дреганова нет, стрелял кто-то по глупому делу, шишки с кедра сбивал. А тебе, Сергей Григорьевич, — он натянул сапог, повернулся к Бахрушину, — вот какое чрезвычайное задание. Отойдем сюда... Демонстрация установки ненадолго откладывается.

— Что так?

— Потом объясню.

— Проманежили людей полдня, — сказал Бахрушин, оттягивая пальцем галстук с распаренной шеи.

— Знаю. Извинюсь. — Подолька посмотрел на часы. — Сейчас я срочно на связь с управлением. А ты, Сергей Григорьевич, как вернется после меня вездеход, сажай всех и тоже — в поселок. Приложи максимум усилий, чтоб занять гостей. Максимум. Чтобы все было, как в лучших домах Лондона! У Веры Федоровны из моего личного энзэ возьми ящик. И все, что к этому нужно. Хоть на голове ходи, петухом пой, но чтобы гости не тяготились задержкой. И ночлег устрой по высшему разряду. Объясни: маленькая техническая заминка, брезент по недосмотру по-

ставили гнилой, воду не держит. Короче, сочини сам. Демонстрировать будем утром по холодку. Лечение голов, если потребуется, тоже за наш счет.

— А по мне бы — так открывай створ, и делу конец. Куда ему деваться, на карачках убежит. Жизнь-то каждому дорога. Вот развели бодягу! — с легкой наглечой в голосе подал сверху реплику Жихарев. Он уже снова восседал на стене резервуара, голый по пояс, ловил последний ультрафиолет.

Ему никто не ответил.

* * *

Иван опустился на осыпающуюся глиняную кромку канавы, несколько минут сидел, рассматривая внимательно свои руки, то сжимая пальцы в кулаки, так что глянцевили костяшки, то растопыривая и поворачивая к себе ладонями. Мякоть левой ладони была в пятнах древесной серы, он машинально поскреб ее ногтем.

Вдруг до слуха его донеслось тонкое прерывистое поскуливание. Он встал; отводя от лица высокие дудки, прошел по луговине.

Собака лежала на боку, перебирая передними лапами, царапая травяную подстилку. — задние лапы были мертво неподвижны. Она то прискуливала, склоняя голову, то умолкала, часто дыша раскрытой горячей пастью.

Он опустился возле нее на корточки, молча, угрюмо поглаживая ей лоб, жесткий загривок. Потом просунул обе руки под брюхо, тяжело поднял, понес. Собака, повизгивая, лизнула ему подбородок. «Ну-ну», — сказал он.

Спустившись в канаву и пройдя немного по ней, он нашел затененный уголок. От взрыхленной недавно земли тянуло грибной прохладой. Он уложил собаку в тень, стал внимательно осматривать ее, вздыбливая ладонью шерсть. Добрался до крестца — собака дернулась всем телом, заморгала на него влажными глазами.

Тогда он сходил на свое прежнее место, перенес сюда ружье, рюкзак. Достал из рюк-

зака пластиковую фляжку с водой, плеснул в согнутую ладонь, протянул собаке. Та, склонив набок голову, быстро благодарно слизала воду, он добавил еще.

Солнце, оплывая, опускалось за далекий горизонт. Отчетливее запахло коренной влагой, грибок, смоляным духом нагретой хвои.

Сквозь снижающее шелестение дудки донесся снизу, из разлоги, шум речного переката.

Вытоптав в разрыхленном борту канавы углубление, он сел в него, как в кресло, лицом к закату и к разлоге одновременно, которая, расширяясь, как бы впадала в долину Большой Реки, затянутую сейчас серебристой мглой заката.

Раздвоенный инверсионный след, оставленный высотным самолетом, уходил, истончаясь, в эту призрачную мглу, точно крутая выгнутая лыжня, очень красивая — ослепительно-белая на голубом. Если мысленно продлить этот след, то он вот-вот должен упереться в землю. Проклятая память!

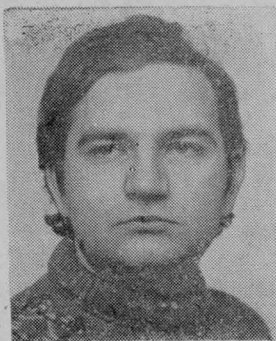
С некоторым душевным усилием он перевел взгляд правее, где небо, резко утратив свою голубизну, млею вуально промышленной несмываемой дымки. Но на правой половине горизонта глаза его не задержались — ничего нового и утешительного тут не виделось.

Нервное напряжение уже отпустило его, но, должно быть, не совсем. Он набрал полную грудь воздуха, держал минуты две, до тех пор, пока не забухало в груди сердце и не замлели кончики пальцев. С шумом медленно выдохнул. Ну вот. В прежние времена нехитрая процедура эта, которую он придумал для самого себя, как будто действовала успокаивающе.

Собака подползла, лизнула лежащую на рюкзаке фляжку. Он сорвал крупный мясистый лист, тщательно скрутил из него кулек, налил полный воды.

Глядя, как та жадно, торопливо лакает из кулька, пробормотал:

— Ага, значит, еще подержимся, Дик.



* * *

ОТПЕЧАТКИ

В. Бокину

1

Мы отпечатали стихи:
И все равно — черновики.
К строке единственной пробиться
Сквозь рябь житейскую и муть
Немыслимо. Так чем гордиться:
Устало искорку задуть?
Ах, легкость, легкость... Никогда
Ты в руки эти не давалась.
Лишь совесть мучила всегда,
Всегда с тобою оставалась.
Чистописанье не похвально.
К иной, глубинной чистоте
Идти сквозь ночь, а дальше — тайна.
А отблеск тайны — на листе.

2

...Согреется строка твоим дыханьем.
Ты в неуклюжей стройности своей
(Гармония вне схем и расписанья)
Моложе возраста на тридцать журавлей.
Здесь тридцать встреч и тридцать
расставаний.

Нам птичий крик понятен неспроста.
Крылатость — не судьба, а состояние
Души и слова, вставшего с листа.
Слова, дела... Кто эти отпечатки
Приметит в нашем лете, тишине?..
Мы молоды, мы смотрим беспечно,
А если уж печально, то вдвойне.

Полетел, упал с горы
Невысокой — не разбиться.
Кожу режешь об углы,
Ублажаешь любопытство.
Ощутил себя мешком,
Колесом себя увидел?
Хорошо ли с ветерком
Кувырном, в нелепом виде?
Стали прыгать тополя
Впереди, как акробаты.
Ткнулся в мягкое — земля.
Встал. И все плывет куда-то.
Тяжело — темно — крылато!
Словно ты на миг включен
В ход Вселенной,
В бег времен.

ЗАБЫТОЕ СТРОЕНИЕ

Торчит арматура, зияет проем.
Ступеньки, покрытые бархатным мхом.
Пустая бутылка, дырявый сапог.
Железобетоннокирпичный кусок.
Но только белила плеснула луна —
И добрая хата, как чаша, полна.
Ненастной порою сверкнет в небесах
И, кажется, — замок и башни в часах.
Дома же, что сделаны в срок и опрятно,
Как темные пятна, как темные пятна.

ПЕРВЫЙ МОРОЗ

Зеленее стали ели
И — мгновенно посели.
Закуржавелись мосты,
Стало больше высоты.
А осеннюю золу
Накануне ветром сдуло.
Подо льдом река вздохнула,
Как алмазом по стеклу.

* * *

Звонкой влагой с трубы водосточной
Наше время упрямо течет.
Непрерывной порою полночной
По любви происходит расчет.
Не расчет — расставанье, разлука...
Это — Родина. Мама. Ветла.
По любви. И без лишнего звука.
Научила. Спасла. Назвала.

ОСЕННЕЕ

Шел снег и дождь, как будто грязь с небес.
Угрюмо распахнулся гордый лес.
В нем свет блуждал, как призрак записной.
Свалились листья. Пахло желтизной.
В себя ушли деревья, на весу
Держа потустороннюю листву.
Казалось, воздух замер, как вода,
И покрывался корочкою льда.
Какая-то неделя, пара дней
И так же не узнать души моей,
Как горек дым прощаний и разлук!
И ветки голые торчат подобьем рук,
Воздетых к небу в плаче и мольбе.
Так и в судьбу поверишь, а в судьбе...
Ползет клоками едкий волчий дым...
О! только б не над именем моим!

* * *

Прекрасна осанка, греховна изнанка.
Меня ты обманешь — ты кровью цыганка.
Любовь твоя дарена щедрою мерой —
Сиренью и серой.
Мираж идеала на улице каждой.
Обманешь, обманешь еще не однажды.
Я тихо бубнил о мечте и бессмертье.
Но в тихой поэзии водятся черти.
От речи пристойной, от лампы настольной
Ты бросила в холод кривой и разбойный.
Ты плачешь. Меня проклинаешь и ждешь.
...Сегодня мы встретимся. Пятница, дождь.

* * *

Мост полустерт туманом,
По нему
Пыхтит неторопливо паровозик,
Как будто осторожно штрих наносит
Художник, чтоб означить глубину.
Появится и скроется дубрава,
Заманивая, мягко гомоня.
Затеplen свет веселого огня,
Перебегает, прячется лукаво.
Я вышел в путь. Нелегкая дорога.
Хотел бы эту свежесть пронести,
Как мы несем у сердца горсть земли,
Единственной — от отчего порога.

Новокузнецк



ПОРУЧЕНЕЦ

РАССКАЗ

По укоренившейся привычке, за которую он еще в институтском общежитии заработал ироническую кличку «клерк», Виктор Петрович привел в порядок бумаги, спрятал все боящееся чужого глаза в сейф, перевернул страничку настольного календаря и направился домой: следовало одеться соответственно поручению.

Учрежденческий рабочий день еще не кончился: улицы набирались сил перед грядущим часом пик. Навстречу шли редкие прохожие, трое-четверо из них приветственно кивнули. Отвечая им, Виктор Петрович вдруг вспомнил себя — расторопного товароведа в овчинном полушубке и негнувшихся валенках, лихо командующего выгрузкой бочек с селедкой и мешков с крупой. В те времена ему на этих же улицах раскланиваться было не с кем: тогда его просто-напросто никто здесь не знал.

Когда его, работника одного из бесчисленных, разбросанных по большим и малым селам «коопов», взяли вдруг в «область», многие отнесли это на счет везения. Но на такое везение надо работать да работать, не теряя ни на минуту чувства ситуации.

Люди недалекие, понятия не имеющие о конъюнктуре, стремятся попасть на глаза начальственных лиц, не замечая их сопровождающих. Такие лезут в кабинеты с дверьми, обитыми темной кожей, натыкаются на секретарш, откатываются на замшелых в долгой однообразной работе замов и чаще всего ни с чем уходят. Откуда им знать, что заветные двери откроются для них тогда

лишь, когда за их толстыми филенками созреет соответствующее мнение, а его формирует работник, сидящий в маленьком кабинете, за обычной дверью, прекрасно знающий, как одно-два вовремя сказанных слова делают свое дело. Существовал кто-то, кто в нужный момент произнес имя Виктора Петровича. Ругаясь с деревенскими тетками, припрятывая цветастый трикотин для жены директора совхоза, следовало заботиться и о том, чтобы такой человек появился.

Проработав почти шесть лет на теперешнем месте, Виктор Петрович полностью вжился в обстановку, сменил полушубок на финскую дубленку, а ручной вязки свитер на костюм-тройку. Сменил и круг знакомых, прежним осталось понимание сути своего положения, доступное далеко не каждому его сослуживцу. Вот и поручение сегодняшнего вечера могло быть дано только ему, это тебя сегодня дождуся?». Или: «Опять в К ним обычно приезжали люди довольно высокого ранга, и это определяло постоянное присутствие при них по крайней мере заведующего сектором, что, естественно, отодвигало Виктора Петровича в тень, превращая его в незаметного порученца. Правда, он и с такой ролью справлялся безукоризненно, зная прекрасно, что боги и начальники более всего не любят тех, кто высовывается. Нынешний гость прибыл из Москвы, уровень представлял вполне значительный, во всяком случае Виктору Петровичу никогда бы им не заниматься одному, не случись у шефа экстренного заседания.

К гостинице Виктор Петрович подошел, имея в запасе сорок минут. Как раз, чтобы проверить готовность в ресторане, спокойно спуститься в вестибюль, обмолвиться несколькими словами со швейцаром — это в какой-то степени гарантировало от неприятных, но вполне возможных осложнений в дальнейшем.

Из вестибюля он поднялся на этаж, условился с дежурной, что чай она подаст в номер пусть даже и позже двенадцати: следовало настроить ее на почтительность к гостю. Таким образом Виктор Петрович заботился и о своем имидже.

Нравилось ему слово «имидж». Английского он не знал, так, только несколько общепринятых фраз, но слово это чувствовал, как ему казалось, абсолютно точно. Во всяком случае он чувствовал существенную разницу между русским репутация и английским имидж. Репутация — что-то приземленное, подобно торговой рекламе, имидж — сродни творчеству, в нем такая же непринужденная легкость. Репутацию берегут, как девственность, чтобы кто-нибудь ее походя не перечеркнул, а вот имидж создается самим человеком, и только тем, кто способен ни на минуту не забывать о том общем впечатлении, какое он производит на окружающих.

В дверь номера Виктор Петрович постучал за десять минут до условленного часа. Приезжие, обычно не утруждающие себя пунктуальностью, как правило, к такому сроку не готовы. Есть, конечно, люди, давно привыкшие к тому, что их ждут столько, сколько надо. Но одно дело, когда тебя ждет кто-то и где-то, другое, если человек топчется рядом. Такое всегда неловко. Однако как бы там ни было, необходимость одеваться при постороннем, выглядывая из-за дверцы шкафа, извиняясь, просить ожидающего подать сорочку либо подтяжки, заставит практически любого согласиться на некую доверительную интимность. Понятно, что у некоторых моделированная ситуация может вызвать устойчивое, опасное раздражение. Виктор Петрович тогда делал все, чтобы сгладить неловкость момента: уходил к окну и заводил

ни к чему не обязывающий разговор, чаще всего о последних культурных событиях в городе. Так и устанавливалась необходимая атмосфера.

Высокий, с открытой улыбкой, хозяин номера красноречивым жестом пригласил войти. Он не только собрался к сроку, но и успел, судя по всему, специально подготовиться к вечеру, и это приятно щекотнуло самолюбие Виктора Петровича.

Ресторан при гостинице располагал двумя банкетными залами. Первый, на три десятка человек, разумеется, в расчет не шел. Оставался малый зал с арабской мебелью, на котором, будь гость постарше, и следовало бы остановиться. Однако сидеть вечер вдвоем за закрытой дверью мало кому в удовольствие, поэтому Виктор Петрович и попросил накрыть на антресолях, выбрав третий с края стол. Получалось — не на глазах и рядом с публикой: появилось желание танцевать — пожалуйста. Теперь он мысленно поздравил себя: гость, судя по всему, собрался хорошо отдохнуть, а в командировках все отдыхает одинаково, быстро сближаясь с теми, кто им сопутствует. И имя у него оказалось легко запоминающимся, почти хрестоматийным — Александр Александрович (Сан Саныч).

Огромный зал, слабо освещенный пробившимися сквозь драпир лучами вечернего солнца, встретил их тишиной. Большинство столиков пока пустовало. Официант Сергей, хорошо знакомый Виктору Петровичу по прошлым, подобного же рода встречам, провел к месту, где в ожидании гостей блестела чистой хрустальной посуда, высились белые конусы салфеток, стоял в небольшой вазе букетик полевых цветов. Виктор Петрович делал заказ, не мудрствуя лукаво. Одно время он, предусматривая свое участие в ритуальных застольях, довольно подробно изучал по разным источникам правила сервировки и сложные взаимоотношения выпиваемого и съедаемого, но практически ни разу не столкнулся со строгим соблюдением этикета: все стремились к простоте. И на сей раз он поступил просто, но не без учета местного колорита: заказал два наименования закусок — салат из кальмаров и папоротника и мясное

ассорти, бутерброды с красной икрой и фирменную телятину под брусничным соусом. Под все — охлажденную «Сибирскую», оставив на всякий случай в запасе пару бутылок светлого столового.

Между тем зал буквально в минуты наполнился. Люди словно ждали за углом и, получив чье-то «добро», спешили занять места. Некоторые поднялись и на антресоли. За соседний столик Сергей провел трех одинаковых, как с поточной линии, в стандартных фирменных джинсах, девушек. Виктор Петрович удовлетворенно отметил про себя расторопность официанта.

Оркестр, побренчав вразнобой струнами, кисло, без энтузиазма потянул обязательную вступительную мелодию, спеша отдать первый час утвержденной программе и трезвости посетителей, с тем, чтобы потом приступить к настоящему делу. Начинался обычный ресторанный вечер. Те несколько фраз, которыми Виктору Петровичу удалось обменяться с гостем, показали, что общие интересы найти не составит труда. Более того, это был, пожалуй, тот случай, когда несколько совместно проведенных часов могут оставить заметный след на годы. Как бы ни был доволен Виктор Петрович своим «сегодня», он не мог не думать о «завтра», которое и обеспечивалось таким вот близким, не скованным официальными рамками, общением с человеком, в чьей памяти небесполезно оставить свое имя. Помимо практических соображений, Виктор Петрович просто любил атмосферу таких вечеров. Он был профессионалом. Мимо его внимания не прошла ни одна деталь: ни чуткая почтительность Сергея, ни взгляды, которые Сан Саныч бросал на джинсовых соседок. Все шло в своей колее.

Виктор Петрович по всем правилам, плеснув сначала себе несколько капель, наполнил рюмки-колокольчики.

— Сан Саныч? Под закусочку?

— Что? — гость, похоже, основательно увлекся соседним столиком. — А-а. Да нет, Виктор Петрович, спасибо, я не пью.

— Да что тут, просто согреемся холоденьким.

— Нет, нет, спасибо, я не буду.

— Сережа, — Виктор Петрович поманил официанта, — принеси, будь добр, сухенького.

Такой оборот хоть и вносил досадную помету в плавное осуществление программы, но вписывался в правила игры. Сказывалась недостаточность общения. В таких случаях иногда кокетничают, хотя заканчивается все одинаково: родной беленькой, порой в номере, да под половецкие пляски. Начинать с вина означало продлить вживание в обстановку. Ну, да на то и опыт Виктора Петровича.

— Вы меня не поняли. Я совсем не пью. Ни водки, ни вина, ни даже пива. Только, пожалуйста, не спрашивайте, что у меня болит. Все в порядке, я просто не пью. Вы уж сами без меня выпейте, закусите, да и поужинаем.

— Один-то я не умею... Собственно, я тоже не очень к этому делу...

— Всегда почему-то начинают оправдываться, — рассмеялся Александр Александрович. — Без того ясно: пьяниц на такой работе не держат. Поступайте по своему усмотрению. Хотите — пейте, не хотите — не пейте. А ассорти — прелесть. Давно не ел такой великолепной языковой колбасы.

— Мясокомбинат у нас свой приличный, второй год подряд знамя министерства берет.

— А еще говорили, что у вас с мясом плохо.

— Отчего ж плохо? С мясом-то хорошо, вот без мяса действительно плохо.

Александр Александрович улыбнулся и покачал головой как-то непонятно: хорошо, если оценивая каламбур, а так, чем черт не шутит, сказанное вполне можно было расценить как анекдот, а анекдоты принято рассказывать только тогда, когда все находится «в одной весовой категории».

Сергей принес бутылку «Гурджани». Виктор Петрович покосился на нее, не зная, что окажется более приличным, — предложить еще раз или промолчать. А гость, нисколько не озабоченный никакими проблемами, активно поглощал ассорти. Тут только, заметив, что делает это Александр Александрович так, словно на самом деле пришел в ресторан по-

ужинать, Виктор Петрович начал осознавать, что вечер может быть испорчен начисто.

Как ни странно, но именно большой его опыт мешал перестроиться. Александр Александрович заканчивал ассорти с салатом, следовательно, надо просить Сергея принести горячее, а потом и по домам. Никто, конечно, не определял времени, какое необходимо было провести с гостем, но сложившийся стереотип диктовал условия. Ведь знал же Виктор Петрович массу вариантов, четко представлял, как себя вести и с молчуном, и с излишне говорливым, со службистом и с трусовым кутилой. Но все варианты предусматривали звон хрустала.

Проходивший несколько раз мимо по своим делам Сергей недоуменно поглядывал в их сторону. Он обладал безошибочной профессиональной интуицией, и она подсказывала ему: за столиком, требующим особого внимания, не все ладно. От Виктора Петровича не ускользнуло, как официант, словно ненароком, склонился к джинсовым посетительницам и что-то быстро сказал одной из них на ухо.

Оркестр, отбарабанив бодрый диско-ритм, завел сладко-томительное танго. Джинсики, с которыми только что перемолвился Сергей, поднялись и, шаркая при каждом шаге жесткими штанинами, направились в их сторону, точнее, прямо к Александру Александровичу. Виктор Петрович проклял в душе голосистую трубу: из-за нее он не расслышал, что спросили джинсики у его визави, что тот им ответил. Видно было, что разговор влез в пару фраз, затем Александр Александрович встал. У Виктора Петровича от нахлынувшего волнения вспотели ладони: если они сейчас пойдут танцевать, то все в порядке.

Но судьба, видимо, взялась испытывать Виктора Петровича до конца. Александр Александрович не пошел танцевать, а просто проводил девушку до места, что-то сказал ей и двум ее подругам любезное и веселое. Те одобрительно засмеялись, а одна даже хлопнула несколько раз узкими ладошками, аплодируя.

А за их столиком опять установилась тягостная тишина. Надо было что-то предпри-

нимать, что-то говорить, делать, иначе все начинало выглядеть просто неприличным. Виктор Петрович лихорадочно соображал, какая тема могла бы сейчас послужить началом разговора и спасти положение, но ничего путного придумать не мог. Казавшийся час назад абсолютно готовым к контакту Александр Александрович выпал вдруг из сферы влияния.

— Может, все-таки размочить колбаску? — неожиданно для самого себя брякнул Виктор Петрович, неприятно поразившись подлой просительной нотке, прозвучавшей в голосе.

— Давайте больше к этому не возвращаться. Мы же договорились. Скажите, Николай Егорович у вас давно работает?

— Лет пять.

— А пришел откуда?

— Главным инженером рыбкомплекса был.

— Ах, вон оно что...

Виктор Петрович насторожился. Николай Егорович — его непосредственный начальник. Что бы ни спросил гость про него, отвечать небезопасно. Вопрос этот окончательно стер первоначально возникшее дружелюбие, освободив место настороженности и даже враждебности.

— Виктор Петрович, у вас в ресторане как принято кофе подавать? В чашечках или в стаканах?

— В чашках, конечно, — отлегло от души Виктора Петровича.

— Тогда можно было бы попросить принести второе и кофе-гляссе? Я на вечер работы набрал прилично, надо садиться, считать. Вы уж не взыщите.

— Да какой может быть разговор?! — Виктор Петрович словно ненароком бросил взгляд на часы. Вечер округлялся полутора часами.

Второе Сергей принес быстро, хотя и было оно заказное, рассчитанное на неторопливого посетителя. Обстоятельство это Виктора Петровича почти обрадовало: он истомился своей беспомощностью и теперь, когда все стало ясным, безразлично ждал конца.

Расправившись с телятиной, похвалив повара и допив кофе, Александр Александрович поискал глазами официанта.

— Не беспокойтесь, я заплачу, — поднялся со своего места Виктор Петрович.

— Ну что вы, на такой ужин у меня командировочных хватит, — улынулся гость.

Это был последний удар.

Провожая гостя, Виктор Петрович шепнул официанту: «Сережа, ты графин кому-нибудь пристрой. Вечер весь еще впереди. А за него мне в кейс, вон он на стуле стоит, организуй бутылочку запечатанную».

Сергей согласно кивнул: «Сделаю, Виктор Петрович. А этот-то что? Чего он?»

Виктор Петрович потерянно махнул рукой.

Из гостиницы Виктор Петрович вышел, чувствуя себя по-глупому обманутым. В таком состоянии злишься больше всего на себя. Домой идти нельзя: жена, удивившись раннему приходу мужа, не удержится от вопросов, на которые в конце концов ответишь грубостью.

Спасительный вариант оказался, как всегда, простым: надо двигать к Кольке. Дом его через улицу, в настоящее время он один в трехкомнатной квартире: на днях проводил жену с сыном на юг.

Спустя пять минут Виктор Петрович сидел за столом в большой комнате, заставленной книжными шкафами и радиоаппаратурой, требующей ремонта. Хозяин суетился на кухне.

Коля, строго говоря, не был человеком их круга, работал он в какой-то проектной конторе, но золотые его руки давали ему право на знакомство со многими интересными людьми. Он ремонтировал японские магнитофоны и отечественные телевизоры, никому не отказывал, со временем не считался.

Через полчаса они пропустили по первой, закусил глазуней с луком, магазинными маринованными огурцами, закрепили по второй и принаравливались по третьей.

Странное представляла из себя эта пара: Виктор Петрович в щегольски-бежевом, мягкой шерсти костюме югославского производства и Коля в застиранном хлопчатобумажном трико. Хозяином выглядел Виктор Пет-

рович. Он вновь приобрел уверенность, раскованность.

— У тебя жена куда уехала, на Кавказ?

— Нет, в Ялту.

— Правильно, я тоже Крым больше люблю. Там и люди лучше и погода.

— Люди везде одинаковые.

— Не скажи. Чего ж они, одинаковые-то, за яблоки по-разному берут?

— Понятия не имею, я ни там, ни там не был.

— Зря, море — человек. Я так если не отдохну летом на море, то год сам не свой, еле до весны дотягиваю. Отдыхать надо как следует. Главный у нас с тобой сейчас, Коля, капитал — здоровье.

— Я и отдыхаю. Ежегодно на рыбалку езжу.

— Какой это отдых — комаров кормить? Отдыхать надо вкусно. Я обязательно на песочке греюсь, а потом в столице с недельку по театрам хожу.

— В московские театры попасть еще надо.

— Не проблема. У меня сейчас знакомых там полно. Приезжают к нам, пообщаешься с ними, шер-шевел — и телефончик в кармане.

В груди Виктора Петровича всколыхнулась душная злая волна. Вспомнился Александр Александрович.

— Пижон! — невольно вырвалось у Виктора Петровича.

— Кто? Я?

— Да нет. Гуся тут одного московского угощал, так он все двумя пальчиками... Не пью, говорит, ни вина, ни водки.

— Ну и бес с ним, пусть не пьет. Его дело.

— Знаю, как он не пьет. Обжегся где-то, вот на водичку и дует. Как некого бояться, так трескает за троих. Тихушник.

Коля опешил от злых слов гостя. Таким он его никогда не видел.

— У тебя ничего больше в холодильнике не загниет?

— Нет, но сейчас сообразим. — Коля почувствовал доброй своей душой, что наступил как раз тот момент, когда надо.

— Что ты сообразишь? Везде закрыто.

- Сбегаю у таксистов возьму.
- Пойдем, — Виктор Петрович решительно поднялся.
- Куда?
- В «Сибирь», там за мной столик забит.

В ресторане вечер подходил к концу. Музыканты не уходили на перерывы, а гнали один заказ за другим. «Лезгинку» сменяла «Мясоедовская». Народ, не успевший взять то, чего ради пришел в большой этот зал, рвался из последних сил.

А за столом, где царствовал Виктор Петрович, суеты не было, потому как он действительно царствовал, полностью подчинив своему вниманию и джинсовых куколок, и

приладившегося к ним мальчика в кожане, и Колю. Боковым зрением он видел, что Сергей, захваченный предфинишной запаркой, следит за их столом, постоянно готовый откликнуться.

— Ты знаешь, Виктор Петрович, — наклонился к нему Коля, — у меня такое ощущение, что я кого-то ввел в заблуждение. Я здесь не первый раз, но никогда вокруг меня так не крутились. Здорово ты их держишь.

— Все нормально, — подтвердил Виктор Петрович, поставив двумя этими словами на место и мысли и душу свою. И только в глубине души непривычно затаились недоумение и тревога.

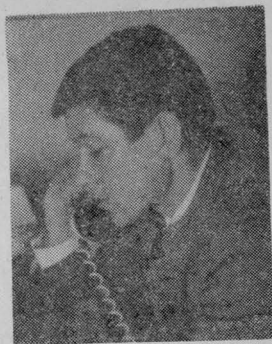
Павел Майский

* * *

Таежные травы поверху обсохли,
А понизу густо дымится роса...
Скребет еле слышно по травам высоким
С войны не отбитая толком коса.
На долгом замахе спиной приседая,
Слепней отгоняя на каждом шагу,
Вторую неделю старушка седая
Одна ставит сено в Дегтярном логу.
В жару отлежится немного на сене
И, вилы припрятав, спешит до села
Тропинкой, родившейся в то воскресенье,
Когда похоронка от мужа пришла...
Когда говорят о любви, что до гроба,
О верности той, что в сердцах берегут,
Я попросту вижу, как Дарья Петрова
Одна ставит сено в Дегтярном логу!

В ПОСЕЛКЕ САРБАЛА

По субботам и воскресеньям,
Поднявшись в несусветную рань,
Здесь стирают дачники грань
Между городом и деревней.
Поредели леса окрестные:
Третий год стучат топоры
В дни субботные и воскресные
По-над речкою у горы.
И встают от туманов влажные,
Супротив деревенских изб,
Легкомысленно двухэтажные
Дачки с окнами под карниз.
Ходят с тутошними парнями
Девы дачные до утра,
Бойко твякают по дворам
Полупудели, полудворняги,
В магазинчик набилось битком,
Как в джекклондоновской Америке.
Городские — за парфюмерией,
Деревенские — за молоком...
А на клубной библиотеке
Объявление для сельчан:
«В 8 вечера — дискотека.
Молодежная. Под баян.»



* * *

С раскормленной мордой нагловатой,
Зрачками, как квартирные глазки,
Не выношу овчарок городских,
Защитников хозяев трусоватых!
Покусан ими я уже не раз,
За то, что не вставал по стойке «смирно»,
По-черепашьи голову вобрав,
А проходил, как полагалось, мимо...
Уж больно размышленья в наши дни
О «друге человека» стали в моде...
Все это разговорчики одни —
Когда он друг, зачем ему намордник?

* * *

И день пришел! И озарился лес
Улыбкой тихой ясного рассвета.
И беспредельным таинством чудес
Открылся мир божественного лета.
Торжественно проплыл в березняке
Лось длинноногий; неуклюжий с виду,
Масленок под сосной, на бугорке,
Сухую ветку потихоньку сдвинул;
Сердитый самолетик стрекозы
Погнал большую бабочку вдоль прясла...
И гром несостоявшейся грозы
Лениво шевельнулся в небе ясном...
И с выгона, от сонного села
Плывет неспешный звон коровьих
ботал...

И даль лесная празднично светла,
И сердце ждет хорошего чего-то!

Новокузнецк

Владимир Куропатов

РЖАВЫЕ ГВОЗДИ



РАССКАЗ

Солнце уже зацепилось за самую верхушку тополя возле бани и пекло так, что все живое попряталось и умолкло, а картофельная ботва потемнела и обвяла, будто обваренная кипятком.

Затащив под навес чурбак с укрепленной на нем наковаленкой, Сидорка кашлянул, утер рукавом рубахи потное лицо, сел на перевернутый ящик и начал прямить гвозди. Только начал и сразу же перед ним вопрос: зачем?

Сегодня поутру Сидорка разобрал — дошли-таки руки — снятые еще весной звенья старой изгороди. Жерди, столбцы — совсем уже трухлявые — изрезал на дрова, прибрал в дровяник и теперь вот принялся прямить выдернутые гвозди. Гвозди старые, изъеденные ржой до тех пор, что шляпки иных держатся на тонюсеньких шейках. Чтобы такой гвоздь вбить, даже ему, Сидорке, с малых, считай, лет плотнику, нужно все искусство употребить. Пустую, зряшную работу делает. Ничего такого, ну, солидного, что ли, строить он не собирается, а чтоб какую-то доску-палку прибить, — всегда десяток новых найдется. Вот и вопрос: зачем?

Перед Сидоркой часто встают разные «зачем это?», «почему это?». На одни вопросы он отвечает запросто, без запинки; другие заставляют поразмыслить, за жизнью понаблюдать; но есть такие, язвы их, назойливые, такое беспокойство от них, как от болячки на каком-нибудь неудобном месте, и которую ничем не изведешь. Такие вопросы Сидорка называет про себя берданистыми. Давным-дав-

но произошел с Сидоркиным отцом, Сидоркой Большим, случай... Кстати, Сидорка — это вроде прозвища от фамилии Сидоркин. Пока отец, Сидорка Большой, был жив, сына его, Василия, звали Сидоркой Маленьким. А теперь — лет вот уже восемнадцать — просто Сидоркой. Бывает, нет-нет да добавит кто-нибудь по старой привычке — Маленький, и Сидорке делается смешно: ведь четыре года шестого десятка уже прожито, а все — маленький...

Так вот, значит, произошел с Сидоркой Большим такой случай. Была у него старая берданка. Однажды на охоте заслал в ствол патрон, прицелился в зайца, нажал на спуск — осечка. И все: и не выстреливает патрон, и не вынимается, будто он там прирос.

Берданистые вопросы — беда и мука Сидоркина. И ответа — хоть ты лоб расшиби — не дашь, и не отступают они. К примеру: Митька Сухов и еще какой-то там не поделили вчера пивную кружку. Спорили, спорили, да и давай друг друга тузить, правоту доказывать. Почему? Почему не словами, как и началось, а кулаками, болью, будто болью люди думают. Собаки, кошки, коровы — это еще понятно. Но почему и люди? Не может Сидорка — хоть стену грызи — ответить. Не может, ну и ладно бы — пусть кто поученей отвечает, а Сидоркино дело — топор да долото. Рассудит так Сидорка и скажет себе: «Будет, спи». Но не тут-то было. Вопрос тут же, скрючился над тобой, канючит: «Ну, а все-таки почему?» — «А хрен его знает! —

рассерчает Сидорка. — Я тебе не академия наук, пошел вон!» И начнет думать о другом, скажем, вычислять, когда корова Январька отелиться должна. Вычислит. Потом о сене думает, еще о чем. И вдруг опять: «Почему?» Вопрос, который Сидорка пужал от себя, уже оттер тихонько все думы и опять ластится: «Им уж мужики кружки со всех сторон суют, мол, нате, только уймись. Нет, надо чтоб больно было. Почему?» И тужится Сидорка, думает, ответ ищет...

А рядом жена Александра. Разметалась, спит. Да и вообще Сидорка завидует жене. И такая же она счастливая, даже завидки берут. Вот встанет уже скоро Александра. Будет корову доить, печь топить, огурцы солить, разные другие дела ладить. Меж делами с соседкой посудачит, походя на хозяина пошумит: «Воды я от тебя сегодня дождуся?» Или: «Опять в избе наследил, следун. Будто у меня и дел, что за тобой подтирать». За обедом привздохнет и скажет, что дочь Надежда долго не едет, хоть бы письмо прислала, как там они... Все у нее просто, все ясно, как два да два. Но он, Сидорка... Даже курицу в огороде увидит, по привычке подумает сначала: «И что ее туда тянет, что ей там, бестии, надо?» «Отец, да ты никак ослеп! Рябуха на огурцах!» — кричит из избы Александра. Однако Сидорка, пока не растолкует себе курицыно поведение, на женины слова и ухом не поведет, а растолкует, тогда и пойдет выгонять пакостницу: «Кы-ш-ш-ш...» В навозе семена разных трав, вот они и соблазняются, настырничают. Так во всем и всегда: дознаться-докопаться, смысл найти. Хотя наперед ясно, из смысла того борщ не сварить...

Сидит Сидорка под навесом на ящике, прямит гвозди и думает, зачем он это делает? Ответ на вопрос есть. Только он сокрыт, как бы листовой прошлогодней припорошен. Разгреби легонько и найдешь требуемое.

В сорок четвертом, в конце лета, председатель колхоза Клавдия Кравцова призвала Сидорку и Федьку Романова и взмолилась:

— Ребятунки, родненькие! Белые мухи

не за горами. Полетят, а коровник недостроен. Помогайте. Фронту, говорю, папкам вашим мастице нужно. А? Ребятишки?... Вы ведь уже совсем мужики: по четырнадцатому годку пошло...

— А если поможем — что тогда? — спросил Федька с намеком и глаз чуть прищурил.

— А что захотите, — пообещала Клавдия.

— Конопли, досыта чтоб, дашь?

— Конопли-и-и? — удивилась председательша.

— Дети, еще совсем дети, — вздохнула счетовод Мария Прохорова. Клавдия повела на нее строгими осуждающими глазами. И Сидорке с Федькой:

— Вы коровник закончите, а бабы с девами как раз конопли намолотят...

На том и стоворились.

Бригада составила прямо-таки «ух!»: старик Скворцов, которому бы только на печи лежать, Иван Перушкин, вернувшийся с фронта на деревяшке, да они, Сидорка с Федькой, малолетки. Однако ничего, плотничать можно было б, все четверо телом слабы да смекалкой сильны, да вот беда — ни гвоздей, ни скоб. Откуда только не грех повиыдержали, всякую мало-мальски подходящую железяку подбирали, в кузне перековали, в дело пустили. Мало.

А поблизости от стройки еще по той весне, сторбившись, уткнулся в воду одним концом совсем обветшавший, замшелый мост через небольшую речку Теш.

— Вон сколько добра зря пропадает, — кивали Сидорка с Федькой в сторону моста и испытующе смотрели на деда Скворцова. Дед вздыхал, скреб за ухом.

— Не колхозное добро-то. Дорестроевское.

— Теперь какая разница. Отъездились по нему. А скоб там, поди...

— Но, но! — строго обрывал дед ретивых парней. — Мало ли чего. Время военное, след, всякий мост — объект военный. Тронь — и выйдет вредительство, саботаж...

Темной ночью Сидорка с Федькой выплеснули четок керосина на загодя подложенный под мост сухой хворост, бросили горящую спичку и в страхе перед зловеще забушева-

шим в ночи пожаром — о возможной расплате не думалось — припустили домой...

Утром следом за другими пришли на берег. Огонь вяло, будто уже насытился, доедал головешки. Взгляды парней встретились с тревожным взглядом Клавдии. Поняли: догадывается. И ноги ослабли в коленях, и в голову ударил жар: «Что теперь будет-то?».

Председательша приблизилась, шепнула:

— Языки-то, герои, попридержите...

От слов этих, хоть и сказаны они были осуждающе-строго, парни приободрились: ни в жизнь Клавдия их не выдаст.

Иван Перушкин, похоже, тоже все понимавший, тронул председательшу за рукав:

— Скобы-то вели собрать.

— Федька с Сидоркой мигом их... — с другого боку вставил дед Скворцов. Потом, через годы, дед будет похвастаться: мол, вы, прохвосты, еще и не подумали, а я уже все знал. Впрочем, потом все что-нибудь в этом же духе будут говорить; тогда же никто ни о чем «не догадывался».

Все это отлично помнит Сидорка. И не столько головой, сколько душой помнит. Железо дороже золота было. Много дороже. Золото хорошо блестит, а в доску — не годится. Железо, по мнению Сидорки, только с самым хлебом может сравниться. Еще долго после войны — хотя гвоздь уже и не был проблемой — в плотницких бригадах должность оставалась — гвоздоправ. И норма была: столько-то килограммов за смену выдернуть и выправить. Заставь-ка сегодня кого-нибудь править...

В прошлом году, когда новую весовую строили, был случай. Снимал Сидорка с фундамента опалубку. Ловко у него это получалось, доски отваливались одна за другой, и ни один гвоздь не погнулся. Хотел свернуть их набор, чтобы не напорол кто ненароком ногу, — жалко стало: такие они все прямехонькие да белые, блестящие, — когда им было заржаветь, неделя, как вбиты. Принимая выдергой вынимать. Федор Романов увидел — он в бригаде за старшего, — заметил:

— Сидорка, ты кончай этот саботаж.

Во как: снова саботаж! Кажется, тогда, в сорок четвертом, слово это, сказанное дедом Скворцовым в страхе, не так резануло, как сейчас, сказанное Федором в шутку... И все-таки: если в каждой шутке есть доля правды, то в Федоровой такая эта доля, что можно считать ее, шутку, всю правдой. Уборочная на носу, а весовая — один фундамент пока. Надо торопиться новые вбивать, а выдергивать гвозди «бэу» в такой горячий момент — саботаж, самый настоящий. Вот и получается: в войну Сидорка с Федькой готовы были и на саботаж, потому что скоб да гвоздей днем с огнем не сыщешь, а теперешний саботаж потому, что вдоволь разного железного добра. Если по рассудку, то так оно и выходит. Однако сидит вот Сидорка и тюкает, прямит, когда надо бы хлам этот, гниль железную в нужник спустить. Рассудок рассудком, а душа не велит: тот, сорок четвертого года, коровник помнится. Вот и прямит, аккуратно и не торопясь. Куда торопиться? Сегодня воскресенье, выходной, никто «объема работ» не требует, значит, можно и «посаботажничать». И порассуждать.

Та же история и с хлебом. Случается, в совхозной столовке не доест Сидорка обломочек и расстроится: куда его? Оставить на столе — судомойка в помойную лохань спровадит. Хлеб — в помой? Жалко. Как и с гвоздями, сегодня с хлебом проблемы нет, но разве душе это объяснишь? Сидорка обломочек зажмет в ладони и сунет украдкой в карман. Прямо смех, и...

Сидорка перестал стучать по наковальне, спустил на землю боек молотка. Смех — может быть. А греха в этом никакого.

Однажды, в прошлом же году, Сидорка прямо с работы пошел на покос, посмотреть, не промоchило ли после вчерашнего дождя копеншки. С Комитетской горы стал спускаться, видит, в логу машина — села. Шофер Митька Сухов что-то под колеса подсыпает. Неужели?! — мелькнула догадка. Да не может такого быть! Сидорка прибавил шаг. Подходит — точно. Зачерпывает ведром Митька в кузове ячмень и под колеса высыпает. Сидорка с ходу так и впился пятерней в Митькино плечо.

— Что же ты, суё-кин сын, делаешь?!

Митька, не обернувшись даже, нервно и зло отодрал Сидоркину руку, сел в кабину, поддал газу, колеса подмяли под себя и выбросили сзади желтыми лучами ячменные зерна, машину с пробуксой выкатило на сухое, Митька хлопнул дверцей и лихо помчал в гору.

— Мерзавец! Ах ты ж мерзавец! — смотрел вслед машине Сидорка. Его колотило. Склонился над рывтиной, зачерпнул пригоршню ячменя, перемешанного с клейкой грязью, и, не зная, что с ним делать, что-то лихорадочно стал искать глазами, но никак не находил. И тут увидел: прямо на него катит красный «Москвич» главного инженера совхоза Петра Боброва.

— Стой! — закричал Сидорка и поднял ладони с ячменем.

Бобров резко затормозил. Высунувшись в окно, спросил встревоженно:

— Ты что?

— Вот! — Сидорка поднес пригоршню грязного ячменя к самому лицу главного инженера. — Митька... Негодяй... — Сидорка задыхался от возмущения и гнева. — Под колеса вместо гальки...

Тревога сошла с лица Боброва, он облегченно вздохнул, сказал с укоризной и даже несколько раздраженно:

— А я черт знает, что... Думал, чепэ.

— Так чепэ и есть! — Сидорка поднял в пригоршне ячмень. — Хлеб под колеса! Хлеб, говорю!..

— Вот паразит, — сказал Бобров в адрес Митьки Сухова, но сказал очень уж как-то бесстрастно, и это не могло понравиться Сидорке. Он закричал:

— Судить за это надо! Расстреливать мерзавцев! Вешать надо! А ты...

— Да ты успокойся. Я этого так не оставляю.

— Знаю, Петро, знаю! Походя пожуришь его, как шалунишку, который опёсился: мол, нехорошо. Пожури его, пожури. А завтра он тебе сюда весь кузов шуранет-опорожнит, всю дорогу от комбайна до сушилки тебе отсыпет ячменем.

— Так что, по-твоему, теперь и в самом деле веревку ему на шею?

— Судить негодяя! Чтoб неповадно...

— Давай засудим. А на его машину, — Бобров резко возвысил голос, — кто, ты сядешь? А еще на две, что в гараже стоят, кого посадить прикажешь? Митька, если хочешь знать, каждый день две нормы делает. А ты — из пустяка трагедию делаешь, истерику закатываешь, — Бобров включил скорость.

— Это не пустяк, Петро. Ты ж сам, Петро, синий...

«Москвич» сердито заурчал, дернулся и стал удаляться.

— ...мы ж с тобой вместе синие в войну ходили, — кричал Сидорка вдогонку «Москвичу», — от картошки голимой. Эх, ты-ы-ы!.. — Сидорка бугорком вывалил ячмень на обочину дороги, отряхнул руки и уныло побрел дальше.

Пришел на покос, и глаза сразу же уперлись в кучу металлолома под старой березой. Год уже куча лежит здесь. И еще не улегшиеся в душе Сидорки чувства накрыла новая волна возмущения.

Чтобы соединить два поля в одно, старый Сидоркин покос раскорчевали, а траву отвели здесь, на бывшем полевом стане. Не косьба была тем летом, а мука. Махнешь литовкой — и по железяке жалом... Стал Сидорка стаскивать весь хлам под березу. Чего только не натащил: и старые изувеченные бороны, и сплюснутые бочки, и лемеха, и разные шестерни, червяки, и поршни, и шатуны, и обрывки канатов... Тонн шесть набралось, не меньше.

Как-то встретил возле конторы Петра Боброва, сказал:

— Там я металлолома насоби́рал. Вывези.

Петро нос наморщил, и, как дед Скворцов, когда ему Сидорка с Федькой насчет моста намекнули, за ухом поскреб.

— Черт. Весь транспорт занят — корма. Прямо и не знаю, как тебе помочь.

— Да почему мне-то? Это я тебе полплана сделал, — напомнил Сидорка. — Как говорится, безвозмездно. Дашь транспорт — и погрузить помогу.

— Как-нибудь вывезем, — пообещал Бобров.

Потом еще трижды напоминал Сидорка главному инженеру о металлоломе, последний раз нынче уже, после посевной. Всякий раз Бобров морщил нос, скреб за ухом, обещал: «Как-нибудь, Сидорка, вывезем...»

Стоял Сидорка, смотрел на кучу ржавеющего металлолома, думал: хлеб и железо — без них нет человеческой жизни. Так война доказала. Лично ему. Тогда и хлеб и железо были проблемой. Потому и берегли, боролись за них, как за саму жизнь. А сегодня что? Сегодня и хлеба и железа вдосталь. А вот сбереж их — проблема. Наоборот, что ли, стало? — удивился своему выводу Сидорка.

В тот же вечер Сидорка сел за стол, раскрыл тетрадку и обо всем этом — о хлебе, металле, о думах и возмущении написал заметку в районную газету «За урожай». На целых шести с хвостиком листах вышло. И так складно, как Сидорка даже не ожидал от себя. На другой день отнес на почту. Дорогой вычислил: пусть два дня туда, да там... В общем, через неделю должны напечатать, ну, пусть через полторы. Мысли, что могут не напечатать, и близко не было: уж очень о важном, считал Сидорка, и очень от души он все написал.

Но ни через неделю, ни через полторы, ни через полтора месяца Сидоркину заметку не напечатали. «Так дело не пойдет», — сказал сам себе Сидорка, собрался и поехал в районный центр. Отыскал редакцию, зашел. Сразу направо дверь: «Отдел писем. В. В. Тырышкина». Туда и зашел. За столом — женщина, пожилая, строгая, чуть нахмуренная. Почему-то именно такими, строгими и чуть нахмуренными — но, правда, молодыми и симпатичными, — всегда и представлял Сидорка себе корреспондентов.

— Слушаю вас.

Сидорка объяснил: мол, так и так, Сидоркин я. Василий Максимович. Давненько уже послал вам письмо с критикой и мыслями своими, а в газетке что-то не видно. И вот нарочно приехал узнать.

— Что-то такое было, — Тырышкина нахмурилась еще больше, достала из стола пух-

лую папку, порылась в ней, извлекла листки, исписанные рукой Сидорки — они и почтовый конверт были скреплены скрепкой. Тырышкина перебрала листки пальцами, словно бы как деньги, пересчитала их. Отвела взгляд в окно, покусывая нижнюю губу, подумала и сказала: — Человек вы, чувствуетесь, думающий, равнодушный, но-о-о...

— Что? — настороженно спросил Сидорка.

— Очень ужасные факты вы приводите.

— Правильно. Но уж какие случились.

— Да, но ячмень под колесами, гора металлолома в лесу, — болезненным голосом, с болезненным выражением лица сказала Тырышкина. — Это... Это ужасно! — передернула, будто от холода, плечами и развела пухлые руки.

— Но ведь это было, — горячо и внушающе сказал Сидорка.

— В вашем хозяйстве, — Тырышкина ткнула пальцем в Сидоркины листки. — Но не в каждом же!

— Про все совхозы не скажу. А у нас — было. А чтобы больше не случилось такое, нужно хорошенько пропесочить виноватых. Это же издевательство над хлебом и над железом...

Сидорка не стал говорить дальше, потому что Тырышкина улыбнулась так, будто он парнишка, взявшийся рассуждать о таком, в чем еще не смыслил.

— Мы — газета, — сказала назидательно Тырышкина и оперлась локтями на стол, что придало ей вид уверенный и даже важный. — У нас есть линия. Мы не можем тащить на полосы все подряд, нужен отбор... Допустим, напечатали мы это, — Тырышкина подняла Сидоркины листки и как бы взвесила их, — и какое, думаете, впечатление создастся у читателя? А такое, будто у нас везде под колеса подсыплют вместо гальки зерно, будто все наши леса завалены металлоломом. Что о нас, о нашем районе, то есть, подумают... — Тырышкина подняла руку вверх.

Теперь улыбнулся Сидорка. Улыбнулся с ехидцей парнишки, того самого, несмышленного, но не настолько, чтобы не смыслить в самом простом.

— Я вам вот какую штуку расскажу. Лет двенадцать назад нашего зоотехника и скотницу осудили. За падеж молодняка...

— Знаю. Я об этом процессе писала, — с гордым достоинством сказала Тырышкина.

— Тогда я вас спрошу: а без суда можно было обойтись?

— Помилуйте, — изумилась Тырышкина, — было загублено целое стадо.

— Вот именно, — подтвердил Сидорка, — довольный, что корреспондентка попала на закинутый им маленький крючок. — Но не в один же день оно погибло. Сначала два теленка заболело. Начальство знало чем, но скрыло. Чтобы отчетность не похуждала. На авось понадеялись. Писали, значит, знаете про это. — Сидорка внимательно посмотрел на Тырышкину, поняла ли, что он хотел сказать, а самому вспомнилось, как еще в самом начале эпидемии приехал в совхоз корреспондент из этой вот самой редакции.

То был совсем еще молодой человек. В темно-синем осеннем пальто, запомнил Сидорка, и в серой кепчонке, какие модными были в ту пору. Везде ходил, все смотрел, всех обо всем расспрашивал. Даже Сидорку к себе призвал. Мол, поды в этом коровнике вы настиляли? Когда? Сырой или сухой был материал? Кто еще с вами работал? В какое время настиляли?.. Неспешиливый, дотошный и строгий. Сидорке он понравился. Уехал корреспондент, и все стали ждать статью в газете. Но ее так и не появилось: Сержантов, тогдашний директор, как потом выяснилось и было открыто сказано, съездил в район; с кем надо поговорил, и все уладилось. Уладилось, а скот подох. Сержантов с должности полетел, ветврач — тоже. Зоотехника Крылова осудили на пять лет, скотницу Люську Столярову — на один год. Поговаривали, будто следствие с того самого корреспондента началось: свои записки, или что там, отнес самому прокурору. И дело закрутилось. Вполне мог. Серьезный был. Между прочим, от него и сложилось Сидоркино представление о корреспондентах вообще: молодые, симпатичные, строгие. Но, кажется, он ошибался.

— Разумеется, знала, — с заносчивой язвительностью сказала Тырышкина.

— Говорят: пожалеешь лычко — потеряешь сидорок. Пожалели показать павшего телка — потеряли стадо. И должности тоже. Так вот я про телка или про лычко, как там хотите, написал. Чтоб вам про другой суд не писать...

— А вообще-то вашу заметку можно напечатать...

— Ну и все, — воспрянул Сидорка и подумал: «Неужели прорвало ее?»

— Только над ней нужно поработать, кое-что поправить...

— Вы специалисты, вам, как говорится, и карты в руки.

— Главная мысль ваша здоровая и дельная: то, что сделано собственными руками, надо беречь, — рассуждала Тырышкина, а Сидорка согласно кивал головой. — Это, знаете, тем более прозвучит, что сам вы, автор, плотник. В этом большой, если хотите, политический смысл: рядовой труженик мыслит по-государственному, он не равнодушен к проявлению бесхозяйственности...

— Очень правильно, — согласился Сидорка. Он начинал уважать эту пожилую женщину и одновременно с этим испытывать неловкость за весь предыдущий разговор.

— Вот в таком плане. Нам надо повышать сознание хлеборобов. Всех. Поэтому важно ли, кто высыпает хлеб под колеса, не вывозит собранный металлолом. Каждому ясно, что так поступают люди нерадивые, равнодушные. Поэтому я вам предлагаю убрать ваши конкретные факты, они в самом деле, поверьте мне, моему опыту, ужасны. А вот размышлений в том плане, как я говорила, добавить. И, главное, чтобы от души шло, с пафосом. Согласны?

Сидорка молча протянул руку, Тырышкина машинально вложила в нее Сидоркино письмо.

— Сами сделаете? Тем лучше.

Сунув свои листки в карман пальто, Сидорка пристально посмотрел в блеклые глаза Тырышкиной, тоненько засмеялся, потом все басистее и басистее.

Тырышкина растерялась, смутилась.

— Вы... Что с вами?

— Значит, — продолжал Сидорка гого-

тать, — открывателем буду. Мол, слушай, темнота косопузая, что тебе Сидорка скажет. Он хоть и плотник, а по-государственному мыслить умеет... — Сидорка в момент сделался серьезным, сказал жестко: — Я вам не этот... не Буратино, не китайский болванчик. Думать и взаправду могу. А вот вы...

— Послушайте, — лицо Тырышкиной вдруг сделалось бледно-гневым и вытянулось. — Я сорок лет... Я — старый газетчик!..

— Правильно. До того старый, что нового уже не видите. — Сидорка встал. — Я поеду в область, в Москву, — и он вышел...

Тут Сидорка ерзнул на жидковатом шатком ящичке, досадливо крикнул, передернул плечами. Про Москву тогда было лишнее. По-базарному как-то получилось. Тюкнул бойком молотка по камешку, камешек вмялся в землю. Стыдоба!.. Чтобы скорее позабыть это, стал вспоминать дальше.

Только Сидорка глянул на редактора и сразу же узнал его, молодого, симпатичного, строгого. Только теперь он был не такой уже молодой и ничуть не строгий, а живой и веселый. Но прочитав письмо Сидорки, а потом слушая рассказ его о разговоре с Тырышкиной, редактор все больше и больше увядал и грустнел. Когда Сидорка закончил, редактор присутствовал и долго притухшими глазами смотрел на пепельницу, мерно кивал головой и о чем-то, как показалось Сидорке, думал. Ошибаясь в Тырышкиной, Сидорка решил вести себя с редактором поосмотрительней и допускал мысль, что редактор сейчас соображает, как бы половчей оправдать Тырышкину, какая бы она ни была, все-таки его подчиненная, а когда жалуются на подчиненных, то в то же время как бы недовольны и начальником, это Сидорка давно себе уяснил, и потому, чтоб редактор не успел ничего придумать, подтолкнул его вопросом:

— И, значит, что скажете?

— И-да, — отрывисто, с причмоком, сказал редактор, очнувшись от своих дум, отвалился на спинку стула, еще некоторое время подумал. — А скажу я вам, товарищ Сидоркин, прямо: вы правы в том, что пишете.

— Тогда почему не напечатали?

Редактор посмотрел на Сидорку так, слов-

но посетитель ни за что ни про что взял да и обозвал оскорбительным нехорошим словом.

— Видите ли, — решительно начал было редактор и замялся, испытывая какую-то непонятную Сидорке неловкость. — Не хочется вам этого говорить, но... В общем, три месяца ей осталось до пенсии — вот и терпим. Извините, однако в этом правда, — редактор вздохнул, и его тяжелый страдальческий вздох, как стон, рассказал Сидорке все, что кроется за словом терпим.

Сидорка посмотрел на редактора с пониманием и симпатией и тоже легонько вздохнул. Как бы в знак сочувствия и посильной поддержки.

— Металлолом так и не вывезли? — спросил редактор.

— Нет, конечно.

— Вывезут. Это я вам обещаю. И по факту с ячменем разговор кое с кем будет. Ну, а нас прошу извинить.

— Да что вы, — Сидорка встал, считая, что разговор окончен.

Редактор тоже поднялся, протянул руку. Сидорка с живостью пожал ее, потряс, однако ему показалось, что он не до конца еще выразил свои чувства уважения и признательности редактору и решил подкрепить пожатие еще и левой. Но от суетливости, внутренней скованности и смущения движение получилось угловатым, пола пальто свалила с телефонного аппарата трубку, и она свалилась на стол, а со стола с сухим костяным грохотом на пол.

«Раззява!» — обругал себя Сидорка и посмотрел виновато на редактора.

— Ничего, — сказал тот и наклонился за трубкой...

Через день, как приехал из райцентра, Сидорка встретился на улице с Петром Бобровым. Петро оглядел Сидорку внимательно, словно оценивал, ладно ли сидит на нем ватник, сказал:

— Что ж ты сразу в редакцию, по пустяку-то? — тон слов был такой, будто Петро Сидорке на Сидорку же жаловался. Но была, была и прямая обида в словах главного инженера. «Значит, доброго нагоняя получил», — заключил Сидорка.

— А я, Петро, так и жаловался: мол, пусть, а сделать никак невозможно, вот уже больше года канитель тянется, — возразил Сидорка с некоторой долей дурашливости.

— Сделано уже. Сегодня утром вывезли твой металлолом.

— Ну, коль мой, то спасибо тебе, Петро.

А еще через некоторое время было совхозное собрание. Докладывал сам директор. Говорил об итогах уборки, о соревновании, строительстве, дисциплине. Не забыл и о бережливости: «У нас еще бывают случаи, когда отдельные товарищи...» Словом, в обычном духе. А потом оторвался, сверкнув очками, от бумажки, слегка покосился в президиум на товарища из района и обратился к залу:

— В самом начале уборочной был, товарищи, такой очень неприглядный случай. Преступный, скажу вам, случай. Шофер Дмитрий Сухов...

И директор рассказал историю с ячменем. Рассказал, словно все видел собственными глазами. Разделал Митьку, как бог черепаху, наобещал ему кучу разных неприятностей.

— А товарищу Сидоркину позвольте, товарищи, от вашего имени выразить самую искреннюю благодарность. Именно так и должны поступать честные рабочие, как поступил товарищ Сидоркин, наш активный народный контролер!.. — и директор снова скосил взгляд на товарища из района, будто доложил: всем сестрам по серьгам роздал, от чистого сердца.

В зале, конечно, дружно захлопали.

А Сидорку чего-то разобрала досада. Какая-то неясная. Сначала он подумал, что это чувство из-за дружного хлопанья. Он, бывало, спрашивал себя, вот так сидючи на собраниях: и чего у нас так любят хлопать? Похвали — хлопают. Тут же извинись: мол, ошибка вышла, начини то же самое ругать — опять тебе хлопают. Почему? Да потому, что всем все равно. Как будет сказано, так и ладно. Мол, ты с горы говоришь, а с горы виднее. Но нет, причина была не в этом. Сидорка раздосадовался еще до хлопанья. За «народного контролера» обиделся? Ловконько подвел, товарищ директор! Выпалил и глазом не моргнул. Случается, избирают Сидорку. Но

чтобы в народные контролеры — что-то не припомнит... А вообще-то директор и прав даже. Если честно, то Сидорка и есть настоящий народный контролер: по совести, а не по выборности. Может, директор как раз так и хотел сказать. Но вспомнил Сидорка, как тот, сначала насадив шишек Митьке, а потом на все ряды исхвалив его, Сидорку, посмотрел на товарища из района, и устыдился за директора: не от чистого сердца, а как веле-но было, говорил. Вот он где корень досады, настроения его.

Шел Сидорка с того собрания домой, думал.

Интересно, едрит твою в лапоть, получается. Здесь, на месте, вывезти металлолом, оказывается, — великая невозможность. А великий грех — с умыслом хлеб под колеса — такой пустяк, что и говорить не стоит. Но только чуть сверху рыкнули, страху нагнали, и всемигом обернулось другой стороной и чуть ли не само сделалось. Вот она какая силища — страх... Мужики — да и бабы не меньше — стонут: уже месяц в магазине спичек нет. Значит, что: садись Сидорка, или кто другой, катай жалобу? Для верности сразу в Кремль. Пусть оттуда в рабкооп страху пришлют, и он решит дело, будут спички. А на ферме, Александра, жена, рассказывает, комбикорм тащит каждый, кому не лень, потому что все двери настежь. А в больнице — холодина, кочегар гуляет-попиховивает, и на него управы не найдут. А им, плотникам, опять бракованную половую рейку завезли... Да мало ли чего нет, чего до немоготы много, что не так. И на все страх нужен. Где ж его напасешься?..

Шел Сидорка, рассуждал таким образом, а рядом жена вышагивала. Кашлянула. Значит, что-то сказать надумала. Сказала:

— И до каких пор, отец, ты этой дурью маяться будешь? Или тебе больше всех надо?... — Александра опасно покосилась на Сидорку, ожидая, что он, как всегда в таких случаях, раздражится и скажет что-нибудь резкое.

Сидорка ничего не сказал. Ему вспомнилось, как однажды он с Федором обедал в совхозной столовке. Ели борщ и слушали передачу «В рабочий полдень». Из динамика на

стене неслись песни из кинофильмов. А когда они кончились, началась беседа о вреде алкоголя. Какой-то московский доктор прямо страшные страхи говорил: и печень у пьяниц разрушается, и нервная система расшатывается, и на мозги пьянка действует... В общем, всем пьяницам надо ложиться да и помирять. Но они — Женька Осипов, Юрка Пронин по прозвищу Шнырь и еще какой-то незнакомый, но тоже зачуханный — сидели за столом в углу под самым почти динамиком и втихаря, из-под столешницы, разливали «вермут». Доктора совсем не слышали — у них был свой разговор, шумный и веселый, — похоже, еще раньше хватили. Слушали передачу Сидорка и Федор — люди вполне трезвые, употребляющие по праздникам да после бани, то есть по причинам самым уважительным.

— Женьк, — позвал Сидорка Осипова. Тот обернулся. — Про вас говорят. — Сидорка, намекаяще улыбнувшись, показал на динамики.

Все трое за столом притихли и прислушались. Поняв, про что речь, Женька со Шнырем засмеялись:

— Не, не про нас, про других это...

А третий — тот напустился.

— Но все равно послушали б, — посоветовал Сидорка.

— Ты, козел!.. — у третьего заходили на скулах желваки, и он стал подыматься. Но Шнырь осадил его:

— Не возбухай. Это Сидорка. Блажной...

Уже на стройплощадке, когда Федор сел на брус покурить, а Сидорка — просто так, за компанию, Федор, как и Александра вот, кашлянул, будто от неудобства избавился, сказал, глядя в сторону:

— Не пойму я тебя, Сидорка.

— Чего?

— Да лезешь, говорю, ежом в каждую задницу. — И тоном, словно он давно уже доказывает, доказывает что-то Сидорке, но все без толку: — Да живи ты по-людски. Над тобой уже посмеиваться начинают...

Федору тогда Сидорка тоже ничего не возразил. Не потому, что согласен был, что не так живет, иначе надо, а потому, что за сло-

вами его услышал какую-то печальную правду о жизни вообще.

А теперь вот и за словами Александры крылась та же печальная правда.

— Ерепенишься ты, ерепенишься, а глянь, все как было, так и есть.

— Хватит, мать, про это, — сдержанно сказал Сидорка, и они вошли в свой дом...

«Дзень, дзень, дзень, — стучал Сидорка по наковальне, выпрямляя старые ржавые гвозди, — дзень, дзень, дзень...»

«Так, так, так», — будто передразнивая Сидоркин, вдруг ответил издалека другой молоток. Сидорка чуть привстал, вытянул шею, посмотрел за огород, где на взлобке высился новый кирпичный дом Митрофановых. Сам Сергей и кто-то второй — Сидорка не мог разглядеть, кто именно: мешала вершина тополя — начинали крыть дом шифером.

...На другой день после собрания Сидорка, уходя на работу, спросил у Александры:

— Какой размер Надежда носит. Сапоги-то?

— Тридцать шестой, — сказала жена, немало удивившись.

— Зайду сегодня к Людмиле, поговорю.

Людмила Митрофанова — заведующая универмагом. Незадолго до того Александра как бы между прочим завела с Сидоркой разговор, мол, Митрофановы новый дом крыть собрались, а ни листового железа, ни шифера добыть не могут.

— Да-а-а, с кровельными материалами сейчас худо, — посочувствовал Сидорка, ничего не подозревая.

— Но вы ж кроете свиномыслие, — осторожно заметила жена.

Сидорка понял намек.

— Прямее, мать, выражайся, — сказал с иронической ухмылкой. Ухмылку эту Александра ой как хорошо знала. И вспыхнула:

— Что толку говорить-то!? С тобой разве кашу сварить!..

— Не сварить — не начинать.

— Да как не начинать-то, как не начинать!? Зима вон грядет, а Надежда совсем развела. Куда денешься, отдам ей свои сапо-

ги. А сама — в чем? По-доброму бы, отец, — тут Александра сбавила тон, — пойти тебе к Людмиле, да и поговорить... Сотню-то листов шифера всегда можно... Словом, по-людски б, дак...

— Далось вам это «по-людски», — Сидорка опалил жену свирепым взглядом, и она умолкла.

Но через какое-то время опять начала. Корила, уговаривала, бранила, напоминала, «как другие живут», хоть тот же Федор: семья, дом — допреж всего все достанет, добудет, а он, Сидорка...

А Сидорка лежал на диване, смотрел телевизор и ни слова в ответ, как в рот воды набрал...

А тут вдруг сам заговорил. Так как же было не удивиться? Ведь Александра еще не знала, еще никто не знал, что Сидорка после долгого здорового размышления дал себе слово, что отныне и довеку станет жить, как все, то есть «по-людски». Хватит белый свет смешить...

Во время дня он несколько раз принимался «прокручивать» в уме разговор с Людмилой Митрофановой, однако получалось все не так. Главная загвоздка тут была в том, что Митрофановы — люди в селе новые, всего второй год живут, совсем, считай, чужие люди. Но в то же время и соседи. Однако соседи не самые близкие, не те, к кому за всякой мелочью бежишь, а так: «Здравствуйте» — «Здравствуйте», и разошлись. Вот и маракуй, как вести политику... Эх, была бы Надежда Зыкина! Пришел бы, взмолился: «Выручай, Надюха. Христа ради, совсем моя запилила меня...» Надежда засмеялась бы, сказала: «Прямо беда с вами. Ну, говори, чего...» Выручила бы. Потому как своя. В школе нос ей чернилами вымазывал. Но нету Надежды. Уматал ее бес в чужие края к сыну. Вот и придумывай.

Так ничего Сидорка и не придумал. Решил: обстановка подскажет.

С самого начала Сидорке повезло. Людмила была в своем маленьком кабинетике. Была одна.

— Здравствуйте, Людмила... — тут обстановка и подсказала Сидорке: начальство, в

служебном положении находится — по отчеству надо, — Людмила Осиповна, — и, колебавшись секунду, протянул руку. Людмила, принимая ее, поднялась.

— Здравствуйте...

— Василий Максимович.

— Василий Максимович, — машинально повторила Людмила и в растерянности и недоумении смотрела на Сидорку. Ей следовало бы уже сесть, но она стояла. Сидорке сделалось неловко, что она, начальство, стоит перед ним, и, походило, не думает садиться.

— Да вы садитесь, Людмила Осиповна, — подсказал Сидорка.

Людмила, не сводя с Сидорки глаз, в которых к недоумению вдруг добавилась непонятная тревога, опустилась на свой стул.

Подумав, что все выходит слишком казенно, надо бы чуток проще, по-свойски малость, Сидорка сел на стул сбоку стола, распахнул пальто, закинул ногу на ногу и облокотился о край полированного стола.

— Слушаю вас, — сказала Людмила голосом, который показался Сидорке не ее — каким-то чужим.

— Да вот зашел к вам, чтоб узнать... как тут у вас, — Сидорка забарабанил пальцами по столешнице, чтобы Людмила не видела, как они у него трясутся от волнения, а одновременно и ради все той же свойскости.

— Что именно? — спросила Людмила, косясь на его крупные пляшущие пальцы.

— Вообще. К примеру, как с товарооборотом? — Сидорка сделал в воздухе несколько вращательных движений. — Как с планом?

Нет, все не так и не то, начинал он понимать, но как и что надо, убей громом, не знал. Вспомнился зять Сашка. Тоже простой работяга — бригадир на стройке. Двадцать пять лет парню, а как ловок, холера! Когда Сидорка ездил в редакцию, заглянул на часок перед автобусом к молодым. В зале сразу в глаза бросилось: новый шкаф с застекленными дверцами битком набит тоже новенькими, одна к другой, книгами. «Дефицит же. Где ты их берешь?» — спросил у зятя. Сашка засмеялся: «Дефицит для тех, Сидорка (тоже Сидоркой зовет), кто не умеет связи на-

лаживать. Хочешь — научу, как это делается?» Сидорка отмахнулся: «На что мне». И даже осудил в душе зятя: не только сами связи, Сидорка и слова этого не любил. Зря он тогда так. Надо было послушать молодого, да раннего. Сейчас вот и сгодилось бы...

— План выполняем.

— Ну, а с дефицитом как? — Сидорка намерился подходить ближе к делу. — К примеру, с женскими сапожками?... Человек я рабочий, с шифером вожусь. Но и дефицитом интересуюсь. По обязанности, как бы сказать, — Сидорка вымученно улыбнулся и отметил про себя, что намек сделан удачно.

Людмила же при этих Сидоркиных словах распрямила плечи, приосанилась, как это делают люди, когда на что-то решаются, тоже улыбнулась и сказала:

— Василий Максимович, зачем вокруг да около? Давайте говорить прямо...

— Правильно! — подхватил Сидорка. — Я вообще любитель прямых разговоров.

— Так вот, — продолжала Людмила, — если вы пришли по какому-то сигналу с претензией, то — пожалуйста, я вам дам объяснения.

Вот такого-то оборота Сидорка никак не ожидал. Лоб мгновенно взмок. А себя он почувствовал ушибленным и гадким. Что говорить и делать — не знал. Только что плясавшие на столе пальцы затеребили черную кроликовую шапку.

В этот момент на счастье Сидорки вошел грузчик в синем халате, прошел к самому столу заведующей.

— Осиповна, куда велишь стиральный порошок сгружать?

Людмила стала что-то говорить ему, Сидорка, пользуясь моментом, поднялся и скользнул за дверь...

— Буратину из меня делаете!? — сказал Сидорка, переступив порог дома и стиснув зубы. Стачил с головы шапку и фуганул ее на вешалку так, что она, ударившись о стену, отскочила футбольным мячом и упала под ноги Сидорки. Сидорка зло пнул ее в сторону.

Все понимая Александра, виновато на-

супившись, отошла к печке. А Сидорка, пройдя в комнату, сел в кресло.

Ощущение было такое, будто что-то с чем-то схлестнулось лоб в лоб, закрипело, затрещало и рухнуло, образовав груды обломков, к которым от отчаяния и жгучей печали не было сил прикасаться, чтобы попытаться понять, что в этой грудке еще может сгодиться, пойти в дело, а что следует выгребсти, как хлам, мусор. Внимание зацепилось и застыло на том, что случайно оказалось поверх груды.

«Видишь ли, связи он умеет налаживать! — думал Сидорка про зятя. — Умеешь, так и добывай своей жене сам. Но если сам, то самому и платить надо, а так... — тесть с тещей выложат и не взыщут. Не выйдет! Раскусил я тебя, шельмеца. Хитер ты, да глуп, как пуп. Умных книжек полон дом натащил, а...» Тогда же Сидорка вытащил одну из шкафа, мол, что зятя интересует? Прочитал на обложке: «Критика и...» И еще одно слово. Забыл, какое, больно мудреное. Удивился Сидорка: «Ты, брат, что, и критику почитываешь? Должно быть заумная штука?» А Сашка: «Ох, и темный ты, Сидорка. Сейчас не читать, а покупать книги престижно. Понял?» Сидорка все хорошо понял: и почему зять его балбес такой, и все прочее. За штаны две с половиной сотни выбросил и радуется, а штаны те ну ничуть не лучше Сидоркиной спецуры. Это он такой светлый, передовой...

Вошла Александра. Добро, как по голове успокаивающе погладила, посмотрела на мужа. Нет, она не понимала его душу. Но всегда жалела его, когда жизнь ушибала Сидорку и он переживал. Сидорка ценил это в Александре — иной жене не дано и такого.

— Бог с ней, с Людмилой, — отдам Надежде свои. А ты подшей мне валенки.

— Дулю им под нос, а не сапоги. Пусть сами покупают. Не бедные! — горячо выпалил Сидорка и добавил спокойно: — А валенки подошью. Для работы.

«Дзень, дзень, дзень...»

«Так, так, так», — насмешливо вторил молоток от Митрофановых. «Все в мехах, в

золоте, ковры чуть даже не в бане стелешь, на «Жигулях» ездешь. Чего еще-то тебе, Федор, нужно?»

Так, так...

Сидорка снова глянул на Митрофановский дом. На крыше Сергей придерживал лист шифера, а Федор — теперь хорошо было видно и его — вколачивал гвозди...

Это когда Сидорка, сгорбленный и жалкий, шел из универмага, перед мостом через Теш обогнал его бортовой КамАЗ, груженный шифером. В кабине, заметил Сидорка, кроме шофера, сидели Сергей Митрофанов и Федор. Так-то вот. А с кровельными материалами в самом деле было трудно тогда. Но смелому помогает судьба, как любит Сашка сказать, зять. Смелчак сыскался. Наглый — повернее было бы. Бывает, как придет, бутылку осушит и начинает. Мол, я бугор всем буграм бугор, таких в ПМК больше нет. Рядом бригада сидит, побасенки рассказывает: то бетона нет, то другое не подвезли, а мы работаем, у нас все есть. Потому как наизнанку вывернусь, а выколочу, добуду. Где словечком, где улыбкой, а где и... В общем, смелому судьба помогает. Вот нам почет и премии.

Однажды Сидорка слушал, слушал зятевы похвалы и заметил:

— Нечестно это. На чужом хребте в рай въезжаешь.

Сашка посверлил пальцем висок и сказал:

— Был у нас в бригаде такой же, как ты, идеалист. Давайте, говорит, соседям отдадим что-нибудь, хоть зарплату, хоть почет — за их же счет все добыли. Совесть, говорит, мучает. Это он как бы шуточкой. Ну и мы ему, я, с шуточкой же, в том смысле, что совесть свою ты для прекрасного будущего побереги, для потомства, а сейчас не мыркай. Он что-то там в ответ. Уже на полном серьезе... В общем, трудные у нас с ним сложились отношения. А когда трудные отношения, то лучше всего расстаться...

И это считается жизнью по-людски? А что тут есть людского-то, человеческого-то? Двадцать пять лет от роду парню, а уже, как вот этот гвоздь, кривой и ржой изъеден. Когда успел-то?..

«Так, так...»

Вот и Федор, с кем Сидорка ухо в ухо всю жизнь прошел, искривился душой... А Сидорка? Нет, не согнула его судьба, как был прямой, так и остался. До того прямой, что... Сидорка горестно вздохнул и опустил молоток на землю. В памяти его выстроились чередой все неприятности и беды, которые принесла ему его прямота. Но вдруг явилась откуда-то мысль простая и ясная: а когда это было, чтобы прямой гвоздь худым считался?..

— Едрит же твою в лапоточки! Да такому гвоздю, который бит-колочен, но прямым остался, такому гвоздю цены нет! — и Сидорка в лихом восторге изо всей силы ударил молотком по наковальне.

«Дзен-нн-нь!» — разлетелось звонко по селу, по всему, казалось, свету понеслось и не вернулось.

«Так, так, так», — твердил свое молоток Федора.

— Богатеите, нам-то что, — сказал Сидорка, а перед самым встал образ Клавдии, ее удивленное лицо:

— Конопли-и-и?..

...Договор есть договор. Председательша сдержала свое слово. Когда достроили коровник, Сидорка с Федькой работали с бабами на току. Клейтонили пшеницу. Погода стояла — последние осенние денечки — на удивление. Прямо золотая стояла погода. Клавдия поторапливала колхозниц:

— Нажимайте, девки, нажимайте. Небушко нас ждать не станет, — говорила она это полупшепотом, по-воровски как-то, словно бы она и ее девки были в сговоре и делали что-то незаконное, достойное суровой кары голубого «небушка», и сама принималась крутить рукоятку клейтона. Получалось это у нее по-женски проворно и споро — прямо позавидуешь, как это у нее получалось.

Однако Сидорке с Федькой было не до зависти тогда. Чем проворнее бабы крутили рукоятку, тем больше решето выбрасывало зерна, которое они, подростки, ссыпали в мешки. К вечеру уработывались так, что шли домой, еле волоча ноги. И чем ближе к до-

му, тем неодолимее было желание сесть на обочину дороги, посидеть минутку, хоть полминутки, а уж потом идти дальше.

И вот однажды — в сумерках уже — Сидорка с Федькой, не имея больше никаких сил, сошли с белесой пыльной дороги и опустились на уже пожухлую, убитую заморозком травку-муравку. Посидели и минутку, и другую, пора вставать, а подняться не могут: тело сделалось вялым, совсем непослушным, а в голове мягкий туманец. Еще чуток, еще самую малость. Привалились на бочок и уснули...

Сквозь сон Сидорка слышал, как мать охала и пыталась стащить Сидорку с телеги:

— Ну, сынок, вставай, дома уже...

А дед Скворцов посмеивался, помогал матери и говорил:

— Не то, думаю, мешки, не то котомки какие. А это они... Не тормози его. Так сне-сем...

В избе Сидорка открыл глаза. На столе стояла глиняная чашка полная конопляных семян. «Вот отдохну и наемся», — была мысль.

Утром Сидорка проснулся и не понимал, то ли наяву видел коноплю, то ли приснилась она ему: чашка на столе стояла, но конопли в ней не было. Услышал, как мать ругала в кухне младших, Верку с Лидкой:

— Вот возьму и выпорю обоих! Васятка — работник. Это ему Клавдия угощенье прислала, а вы... Ну хоть бы горсточку оставили. Ох, чтоб вас...

Сестры густо сопели, готовые раскаянно зареветь.

«Что с них взять — несмышлениши», — мысленно оправдал Сидорка девочек. Но пошел он на работу с молчаливой ребяческой обидой на сестер: в самом деле, хоть бы чуть-чуть, попробовать оставили. Но когда на краю села его догнал Федька и сунул горстку душистых и хрустящих — мать успела поджарить — конопляных семян, обида на младших истаяла. Шли на ток смеясь, вспоминали, как сели вчера на травку и уснули. Однако с вполне мужской серьезностью пришли к мысли: как бы ни устал — иди, не сворачивай на обочину, сядешь — конец, не подымайся. Иди и иди. Без усталости.

«Так, так, так», — деловито стучит Федоров молоток.

Иди и иди. Без усталости. Не сворачивай на обочину жизни.

«Так, так...»

Шибко, Федор, сытые стали. А сытого не меньше, чем голодного и усталого, в сон клонит. Бойся. Не дай заснуть душе. Бойся!.. Сидорка ударил по гвоздю. Звон раздался густой и сильный, набатный получился звон. Сидорка ударил еще и еще... Звон слился в сплошной гул и заглушил суховатый стук Федорова молотка. Бойся!..

«Дзень, дзень, дзень...»

По небу катилось знойное летнее солнце. Сидорка сидел под навесом на ящике и прямил ржавые гвозди. Нет, не зряшная это работа: впереди — жизнь.



Александр Ибрагимов

* * *

ИЗ ПОЭМЫ „НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ“

Мы с тобой на расстояние глаз,
И звезда сияет свыше нас.

Мы с тобой дрожим от ожидания —
Ведь под ней назначено свиданье.

Там планета каплейкой росы
Чуть склонила млечные Весы.

Там для нас поет утрами зяблик
И по небу плавает кораблик.

Млечная мелодия в крови —
Зябко нам в предчувствии любви.

По одной мы улице гуляли,
Но столетия нас еще скрывали.

Удлинялся каждый год и час,
Только миг разъединяет нас.

Только шаг... и обронив перчатку,
Это ты вошла на танцплощадку.

Вспыхнул свет на расстояние глаз —
Я тебя увидел первый раз...

В каждом сияет древний наказ
И наказанье:
Не преступи расстояния глаз
До осязанья.

Не преступи расстоянья руки
Даже глазами.
И сбереги отраженья реки
Меж берегами.

Пусть в ней струится Млечный Поток,
Звезды и дети...
Не замути любопытством исток,
Выброси сети.

Не сочленяй, не своди берега —
Станет пустыня.
И не прольются на нас облака,
Как благостыня.

Это — как птица о двух берегах
В небе струится...
И под крылами радость и страх,
Слезы в ресницах!

То, что Любовь воедино свела —
Случай летящий.
Так не своди воедино крыла
Птице журчащей.

Сможешь, безумье свое пережди
В неприкасанье.
Ибо за ним — расстояние вражды,
Как наказанье.

Хочешь, крылами взмахни и плыви
Там над пустыней.
Но сохрани расстояние Любви
Перед любимой.

* * *

Вот и мы с тобою преступили,
Что боготворили и любили...

Перьями рассыпан птичий мост...
И погасли отраженья звезд.

И зияет противостоянье
В двух убивших птицу расстояньях.

Ненависть расторгенно свела
Два ее восторженных крыла!

Преступили мы, что в нас сияло,
Что свело нас и соединяло.

В пропасть, что сияла между тел,
Вместе мы и каждый врозь летел!

На ладошках кровь у нас алела
Птицы, что меж нами пролетела...

* * *

Мы с тобой так сами захотели:
Вышли к расстоянию дуэли.

Замерли на небе облака:
Секунданты — тополь и река.

Под ногами вечности песок.
Как мишень порозовел сосок!

Вот оно желание конца —
Быть в другом хоть каплею свинца!

И зрачок нацеленный замрет
Там, где поцелуй еще живет.

Вон летят от зрителей цветы,
Хорошеешь в ненависти ты...

* * *

Между нами расстояние Любви... — этого достаточно для встречи.
Млечная мелодия в крови, млечные в руках сияют свечи.

Мы с тобой не виделись еще... — между нами времени зеркало.
В родинках сияющих плечо ночью сквозь окно мое мерцало.

Между нами миллионы лет... бабочки порхают и мгновенья.
Вон ручей, журчащий, как браслет, выронила ты из сновиденья.

Звезды между нами... только нам в них не затеряться, как песчинкам:
В городе, горящем от реклам, в рощице столетий по тропинкам...

И когда от приступа тоски задохнись на миг под небосклоном —
Вспыхнет в пролетающем такси свет лица — созвездием знакомым.

Господи, я тихо улыбнусь... Господи, прости за нетерпенье.
Вечность между нами, ну и пусть. Вечности равно одно мгновенье.

В Млечный Путь мы вышли... нас влечет млечная мелодия друг к другу.
Вот и сердце всюду узнает — Будущего ласковую руку...



ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР

РАССКАЗ

На остановке людей самая малость. Подошел автобус, пассажиров не густо в нем. Сбоку, энергично работая острыми локтями, безбожно оттискивает меня высокий, с тощим бледным лицом подросток лет двенадцати-тринадцати; на длинном ремне через плечо висит у него спортивная сумка.

Без особого усилия оттесняя его, вразумительно советую:

— В такую-то погоду и пешком прогуляться можешь одну остановку.

Надменным взглядом зеленоватых глаз стрельнул в меня, грубо огрызнулся:

— Еще чо смолотишь?.. Хрыч старый!

Приотстал малость и уже где-то за моей спиной шуровал, видать, локтями.

— Што, хлопец, боишься, что места не захватишь? — с иронией прогудел сочный мужской голос. — А мы попросим какую-нибудь старушонку, глядишь, она и уступит местечко тебе.

К остановке подвалила целая ватага и таких же, как этот подросток, и помладше мальчишек и девочек с портфелями, сумками, ранцами (неподалеку средняя школа, занятия у первой смены кончились), они, школьники, и в хорошую погоду осаждают постоянно и автобусы, и трамваи.

— Генаха, поднажми! — в один голос вопили мальчишки. — Места захватывай!..

— Пропустите ребятишек, лешие! — сердобольно зывал немолодой женский голос.

— Мужики!.. Ни стыда, ни совести, — ворчливо упрекала мужчин другая женщина.

Генаха с товарищем, прошмыгнув, уселись у самой кассы. Я не люблю этих мест! сидишь лицом к пассажирам, как на витрине. Пожилая женщина с тяжелой хозяйственной сумкой в руке попросила мальчишек, чтобы уступили ей место, но они и ухом не повели. Генаха бездумно смотрел в окно; его товарищ, наклонив голову, будто бы дремал. Остальные ребятишки толкали друг дружку, громко переговаривались, хохотали.

— Это ж надо! — возмутилась женщина с сумкой в руке. — Такие бессовестные...

— Не трожь их, Нюра, — предостерегающе посоветовала стоявшая рядом седая женщина, — помнишь, как из Боровушки пешком ходили мы в город, на базар?

— Как не помнить, — отозвалась Нюра. — Дойдем, бывало, до леса-бора, сядем под сосной, посидим, споем и дальше.

— Перевоз-то через реку был лодочный, — продолжала вспоминать седая женщина. — Натискается в нее, в лодку-то, как сельдей; пока переплывешь, таких страхов натерпишься, что не приведи и помилуй!..

...Едва распахнулись двери на следующей остановке, беспокойная ватага с шумом выкатилась, не уплатив за проезд ни гроша.

Всю дорогу не мог я успокоиться. Автобус останавливался, некоторые пассажиры выходили, другие садились; толкались, переругивались. Но я ничего не замечал, не слышал. И не эта дерзость — «старый хрыч...» — оскорбила меня. Тревожило другое. Не в лесу же растут они, не на необитаемых островах...

После нескольких часов сидения в душных классных помещениях снова тискаются в душные автобусы или трамваи. И обязательно сломя голову торопятся место занять, сесть. А там хоть гори все синим огнем...

— Ты вот што, Илюха, ешь и спать, — в субботу вечером за ужином предупредил меня отец. — Чуть свет подыму завтра. Сле-таешь в Фоминку.

Обрадовался я страшно: наконец-то и на мой улице праздник будет. Целый бесконечный долгий летний день свободный.

Тогда было мне уже десять лет. А по сельским меркам — это мужик. В обязанности мои входило пасти на выгоне свиней (две старых и три подвинка были у нас). А они, свиньи-то, беспокойная, прожорливая скотинка, не признают ни выходных, ни праздников; чуть посидят в хлеве и уже заводят такую музыку, такой визг поднимают, аж уши вянут.

Каждый божий день с восхода и до захода солнца жарись на выгоне (ни деревца, ни кустика), глядишь в оба, чтобы хрюшки не забрались в чей-нибудь огород. Да на небо поглядываешь, когда подоспел, наконец, обеденная пора. Пригонишь домой, нальешь им воды в корыто-долбленку, и не успеешь ладом поест, а они уже гудеть начинают, на пастбище просят.

А тут — свобода! До Фоминки (большой хутор Фоминский) километров десять с гаком. Я очень любил лошадей, прокатиться верхом — хлебом меня не корми. И на такое расстояние, да еще одному не приходилось ездить. И я уже представлял, как будут мне завидовать дружки Кирюшка и Петька, когда я с гордо поднятой головой проеду по деревне. Кирюшка, шустрый, обязательно спросит:

— Ты куда, Илюха?

А я махну рукой в белый свет, крикну: — В конницу Буденного! — и пуцую коня полным аллюром. Только степь гудеть будет под копытами, да пыль позади...

Характер у отца крутой был и, понятно, перечить ему в семье никто не смел. И страшно не любил он, когда загода пристава-

ли к нему: что?.. зачем?.. почему?.. В таких случаях он говорил обычно: «Понеред батьки не суйся в пекло, вопросов дурацких не задавай. Всему свой черед...»

И когда наступал «черед», задание он пояснял терпеливо, обстоятельно и доходчиво. И всякий раз требовал (особенно от молодежи и подростков), чтобы слова его повторили, как по нотам. И попробуй тогда сделать не так, как велел отец, или забыть чего-нибудь — пощады не проси...

Спал я с младшей сестренкой Наташкой на одной кровати. Правда, кровать — сказано слишком громко. И топчаном это сооружение не назовешь. Просто четыре обыкновенных кола вбиты в земляной пол, на перекладины уложены неструганные доски — это и была наша с Наташкой кровать. О матрацах, подушках, а тем более о простынях мы и понятия не имели. Себе стелил я отцовский полусубок, а сестренке — материн; под головы клали свернутые ватники, а вместо одеял — свитки из грубого домотканого сукна.

Наша кровать стояла на кухне, у окна, а за окном — ласковый тихий летний вечер. Круглая, что буханка хлеба белого, улыбочивая луна поглядывала на меня сквозь окно, лукаво подмигивала, казалось, спрашивала:

— Ты спишь, Илюха?

Да. Я все слышал. Потому-то и обидно до слез было, что не пустили меня на улицу; потому-то и не мог уснуть я долго-долго. Где-то на деревне парни и девчата постарше так складно, так задушевно пели: «По Дону гуляет казак молодой...» А я вот лежу...

Летом почти до полуночи светло, и мы, пацаны, постоянно вертелись около хоровов старших, слушали песни, с замиранием сердца наблюдали, как они, старшие, играли в «третий лишний»... Как врежет ремнем зазевавшегося игрока (тут уж не смотрели они, кто замешкался — парень или девка), что даже мы, пацаны, взвизгивали от страха. Понятно, нас, желторотиков, не принимали они в свой круг. У нас и спины поуже, и кожа потоньше... И еще любили мы подглядывать, когда, спрятавшись куда-нибудь за угол, целовались парочки. За это нам по шее подавали, если успевали изловить.

Я знал, что мои дружки — Кирюшка, Петька, Васька — там сейчас, песни слушают, подглядывают... Когда перестали петь, я даже услышал задорный визг Кирюшки. И мне хотелось плакать. Вдыхал я, ворочался к боку на бок.

Рядом, свернувшись в комочек, как ежик, посапывала в две носопырки моя восьмилетняя сестренка. Наташка, так же, как и я, каждый день маялась на выгоне, пасла гусей. Мы, пацаны-свинопасы, не принимали в свою ватагу тех, кто пас гусей. Там была одна мелюзга. И большинство — девчонки. Мы гоняли их от себя, куражились: «Гусь свинье не товарищ!..» Хотя смысла этих слов и сами толком не понимали.

Мне жалко было Наташку. По малости лет до нее, спящей красавицы, так, видать, и не дошло, что завтра придется ей одной пасти и своих гусей, и моих хрюшек. Известно, что свиньи всегда норовят нырнуть в огород, особенно на картофельный, а у гусей — тяга к реке, к воде. И никакими «угговорами» не выманишь их из воды. Да еще, гляди, переплывут за реку, а там колхозные посевы... И только тут я понял, что значит: «Гусь свинье не товарищ...»

Ох, и намайется же завтра Наташка!..

Не помню, как уснул. Но прикосновение жесткой холодной руки отца к горячему моему плечу услышал я сразу. Вскочил, будто и не спал вовсе.

— В горнице на столе письмо, — отец торопился, — в Фоминке передашь его Роману Васильевичу и подождешь, пока он напишет ответ. Быстро оденься, поешь и топай.

— Пешко-ом? — робко протянул я, пряча глаза.

Отец был уже на пороге, в правление колхоза спешил. Круто повернувшись, с едкой насмешкой переспросил:

— Может, прикажешь запрягчи в тачанку вороных? Да деда Назара кучером приставить к тебе?..

Отец работал председателем колхоза. Часто вызывали его в райземотдел по разным колхозным делам. Хутор Фоминский на полпути к райцентру, и отец всякий раз заез-

жал к Роману Васильевичу Демину. Они — старые друзья-однополчане, вместе прошли германскую, а в гражданскую вместе служили в коннице Буденного. Демин командовал эскадроном, а отец пулеметчиком был.

Поначалу в колхозах было много неурядиц, неразберихи. Дело новое, опыта даже у районного начальства не хватало. Роман Васильевич работал председателем колхоза в Фоминке. Демин постарше отца был, грамотнее и к тому же коммунист. Случалось, что отец ездил к Демину посоветоваться, обменяться опытом. Несколько раз и я ездил с отцом в Фоминку.

Поговорят, бывало, председатели о колхозных делах, а потом начнут вспоминать про войну: «А помнишь, как под Царицыном Буденный сам повел в атаку?..» — «Да-а, Сиваш дал нам прикурить, — вздыхал отец. — Тачанку на своих солдатских плечах тащить пришлось...» — «Но и показали мы тогда барону Врангелю кузькину мать». И пошло, и пошло. Казалось, конца и края не будет этим «А помнишь?..»

В нашем колхозе тачанок не было. Но, видимо, по старой привычке к случаю, а иногда вроде бы и не к месту вспоминал отец свою фронтową тачанку, вороных коней и как он яростно косил беляков из пулемета. Правда, в то утро, посылая меня в Фоминку, не упомянул отец о своем грозном, безотказном пулемете.

Мать хлопотала у печи. Повернувшись, опираясь на ухват, нерешительно упрекнула отца:

— В колхозе вона сколь лошадей, а ты пешком гонишь дите в такую-то даль...

Отец насупил лохматые брови:

— Тебя слушай, Дарья, так из хлопца белоручка получится.

— Так вершим пущай едет Илюша.

— Верхом ездить тоже много вредно, — не дав матери договорить отрезал отец, — сутулым, горбуном вырастет...

Он повернулся ко мне:

— В крестьянстве ноги, брат, первое дело, — и уже строго:

— Не мешкай, те говорят! — Хлопнув дверью, вышел.

Мать засуетилась: из сундука достала стирную-перестирную ситцевую (праздничную) косоворотку серого цвета, холщовые штаны, выкрашенные в отваре ягод бузины.

— Одень, сынок, чистенькое, ноне, чай, воскресенье Христово. — Помолчав, добавила: — Да и Роман Васильевич порядок любит.

В штанах ни одного кармана. Куда спрятать письмо? Не станешь же всю дорогу нести его в руках. Хотел было рубашку заправить в штаны и положить письмо за пазуху, но рубашка короткой стала; сшили-то еще в прошлом году, а я уже вырос из нее.

— Не дай бог, потеряешь, тогда отец... — еще больше меня тревожилась мать. И посоветовала: — А ты, Илюша, картузик одень и в него положи.

Целое лето шлындал я без головного убора, и еле отыскиали мы злополучный «картузик» — замызганный такой, с измятым козырьком. Оторвал я в нем уголок подклада, сунул туда письмо. Вот теперь порядок!

— Гляди же, сынок, не потеряй, — мать поправила картуз на моей голове, пощупала, на месте ли письмо. — Да не запаздывай. Вечером всякое бывает...

Из дому вышел, когда еще утренняя звезда в небе светилась. В улочке на дороге полне пушистой пыли; она после ночи прохладная, уплотнилась маленько, пружинит под ногами. Во дворах женщины шумят подойниками, скоро погонят в стадо буренок своих. На разные голоса задиристо горланят петухи, предвещают ведреную погоду.

За школой, в овражке, тропинка стиснута разросшимися лопухами да спорышем, щекочут они росой мои босые ноги, окончательно разгоняют дремоту. А выше, на выгоне (пастушков еще не было, рано), где полевая дорога бежит в белый свет, я ускоряю шаги, беззаботно мурлычу себе под нос: «Сотня юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала...» Вечерами мы, пацаны, часто играли в войну, учились ходить «боевым» строем и пели эту песню. Любили мы ее.

Большое деревенское начальство (председатель сельского Совета и председатель кол-

хоза) ездили обычно на легких рессорных дрожках, в которые запрягали пару молодых резвых лошадей. Когда ездил отец в райцентр или в Фоминку к Роману Васильевичу, брал иногда и меня с собой.

Страшно любил я ездить с отцом. Всякий раз испытывал какое-то трепетное чувство, какая-то тайна была скрыта от меня в этих пыльных проселочных дорогах, в неизвестно кем протоптанных тропинках: где им начало, где конец?.. Откуда они, куда?.. Дороги таили какие-то загадки, постоянно обещали что-то новое, неожиданное: вот на ту горку выедем, а там...

Сбоку и чуть позади меня показалось солнце, сквозь дальние заросли дерезы спелым арбузом краснеет. И я таращу глаза, удивляюсь: какая от меня тень среди хлебов ложится огромная!

Ни одной души на всю степь. Известное дело — воскресенье, праздник. Со всех сторон такое раздолье, что просто опьяняет своим простором. Чувствую себя совершенно свободным: никаких забот, никаких хлопот. Будто я — ничей. И теперь мне только вольный ветер брат.

Встретился столбик межевой, до колхозов, должно быть, чьи-то нивы разделял. Взбираюсь на него, держу равновесие растопыренными руками, что есть мочи кричу:

— Илю-юха-а!

А в ответ:

— Ха-ха-ха-а!

Лишь эхо голос подает. А вокруг хлеба, хлеба — до самых небес и еще дальше, за окоем (это мудреное словечко «окоем» слышал я от отца). «На сколько видит око», — говорил он иногда.

Солнце уже поднялось, припекает. Роса в степи подсохла, только по межам среди дозревающих хлебов блестит она в чашечках выюнка, в маковках полевых цветов, на стебелях густой ржи.

У кромки ржаного поля густой, сочный спорыш; в нем отчаянно пиликают на своих скрипочках кузнечики-попрыгунчики, будто у них свадьба нынче. Ползаю на четвереньках, пытаюсь хоть одного поймать, но они, как искры от костра, сигают прытко,

высоко. Ага! попался-таки один: плоский, угловатый, с длинными ножками и острыми коленками. Чувствую, как маленький рвется сквозь пальцы своим упругим, полным энергии тельцем. А я, имея безграничную власть над ним, над его жизнью и смертью, держу это трепетное создание и раздумываю: пустить или нет? Жить ему или не жить?.. Улыбаюсь, подбрасываю его на ладони: живи! Мигом исчезает в хлебах зеленый крылатый скакун.

Вот и Журавская балка — широкий раздольный овраг с пологими склонами. Целый километр, должно быть, спуск и столько же подъем. Низиной оврага весной обильно течет вода от таяния снегов, а летом вырастают там высокие сочные травы да кое-где непролазные кусты терна, тальника, шиповника, черемухи.

Долго провозился я с кузнечиком да у столбика проторчал, и теперь надо наверстать упущенное. Солнце вон куда поднялось уже, а мне еще топтать да топтать. И я пускаюсь вприпрыжку. Как говорят пацаны — бегу собачьей рысью. Легко и покойно на душе у меня, мурлычу нашу любимую: «Сотня юных бойцов...»

И вдруг — стоп! Будто в грудь толкнул меня кто-то. Недоуменно, пугливо озираюсь по сторонам.

Метрах в сорока-пятидесяти от меня низиной оврага дорогу пересекают два волка. Бегут они свободным неспешным наметом. Впереди огромный, как годовалый телок, матерый зверь, а за ним поменьше, молодой, видать.

Я остолбенел, ни рукой, ни ногой пошевелить не могу, словно прирос к земле. И крикнуть не могу, будто язык одеревенел.

Чувствую, как на голове волосы дыбом поднялись и вроде бы письмо зашуршало под картузом.

Не ускоряя и не замедля бег, старый волк лениво, нехотя повернул лобастую голову, вроде бы с пренебрежением посмотрел на меня, а молодой не удостоил меня даже взглядом. Видать, сытыми были звери, удачной охота у них была. Они скрылись в зарослях тальника и черемушника. Говорят,

страх приходит потом, чуть позже. Я и в самом деле испугался еще больше, ощупал голову: не слетел ли с нее картуз, не потерял ли письмо. Что же делать?.. А вдруг волки затаились в зарослях, ждут, когда я подойду поближе... Вернуться домой? Невольно даже пятился начал. Но опять вспомнил про письмо. Может, в нем что-нибудь важное, срочное, и отец с нетерпением ждет ответа от Романа Васильевича, а я... Что скажу я отцу? Скажу, что они, зверюки, напали на меня и я еле ноги унес. Но от волков даже лошадь не уйдет, если они вздумают напасть. Испугался? Но и это не оправдание. Высплет как следует отец и опять пошлет в эту самую Фоминку. Трусов, обманщиков, лодырей терпеть не может отец.

Иду медленно и так осторожно ступаю, что и самому не слышно своих шагов, неотрывно смотрю на заросли, куда ушли волки. Когда же перешел низину оврага, припустил что было духу, во все лопатки драпал...

Светлые воспоминания о своем нелегком, но таком милом, неповторимом детстве так захватили, так увлекли, что я и забыл уже о бледнолицем подростке с его: «Старый хрыч...» И даже проехал нужную остановку. Но вот слышу: «Мама договорилась с одним типчиком. Тот пообещал оторвать для меня дубленочку за пятьсот рэ, — беспечно, невозмутимо хихикала, — само собой, на лапу типчику придется кинуть сотняшку.»

Рядом стояли две молоденькие девушки с размазанными мордочками. На головах у них шапки из меха пса, сшитые по форме растрепанной конны сена. Дохи свободного покроя, подпоясанные замызганными ремнями.

У второй девушки жадным азартом заблестели глаза: «А ты подкинь своей мутерше идейку. Может, тот типчик и мне урвет...»

— Ишь ты, вертикастки! — проворчала седая женщина. — Оне, видать, еще токо учатся, а уж подавай имя...

— То ль мы, Марей, не такими были? — усмехнулась Пюра. — Тоже изводили своих матерей: купи это... достань то...

Марей брезгливо поморщилась:

— В наши-то молодые годы в этих дублешках помои свиньям выносили да назем выгребали из хлева, а теперь гляди-ко...

— Дак у нас тогда и наряды другие были: плюшевая шубка, чулки капроновые с черной пяткой, а платья из этого, — Нюра поморщила лоб, вспоминая, — из панбархата. Мечта моя!..

— Кто мог купить, тот и носил... — буркнула Марей.

— Понятно, не каждый мог купить, — кивнула Нюра, соглашаясь. — Свиристели мы-то все. И счас то ж... Помню, у нас в девятом классе одна девочка пришла в школу повязана оренбургской пуховой шалью. — Выразительно покачала головой. — И-и, што тут было! У девочек глаза колесом...

— А я с ума сводила свою покойную матушку: подавай мне гетры! — оживилась вдруг и Марей. — Помнишь, ботинки такие были: голяшки чуть ли не до самых колен, застегивались шнурками. Во сне даже грезилась мне...

И пошли вспоминать годы, вспоминать свою молодость. Хотя они-то не такие уж и старые — под пятьдесят им где-то.

Нюра, сверкнув темно-серыми глазами, хвастливо выдала:

— В девках я упрямиста была, жуть! Заявила тогда матушке, что в школу не пойду, пока она не купит мне пуховую шаль. Мать в слезы: «Был бы живой отец (с войны не вернулся он), тогда и мне легче было бы. Сколь я получаю на стройке-то?..» А шаль стоила немало... Но я на своем: «Не пойду

в школу, и все тут!» Мать, конечно, отду-басила меня по всем статьям моим. А я — ни в какую... «Бабушка сказывала, — говорю я маме, — что ты в девках была еще хлеще меня. Душа вон, а тебе подавай...» Было у нас два больших поросенка. Так она продала одного и купила мне оренбургскую шаль, — Нюра положила ладонь на высокую грудь Марей, как на исповеди сказала: — И мы, подружка, не пайиньками были, не-ет...

Помолчав, Нюра уверенно заявила:

— И што там ни говори, Марей, а с парнишками матерям легче, чем с девчонками. По себе знаю...

— Куда уж, легче! — озлилась Марей. Посмотрела на тех подростков, что сидели у кассы, процедила: — Во они какие фулиганы растут. Избави бог!..

— Они счас, что молодые жеребчики на выгоне: брыкаются, лягаются... А придет пора, наденут «хомут» и поволокут свою «телегу»... Само собой, приструнивать их надо, крепко держать в руках...

Протяжно, сожалеючи вздохнула:

— Старимся мы, Марей, злыми ворчуньями становимся... — завистливо взглянула Нюра на девушек в песцовых шапках. — А давно ль такими ж вот свиристелками были и мы?..

Остановился автобус. Я поспешно вышел. В ушах неприятно, навязчиво зудели слова незнакомой женщины: «Старимся... злыми ворчуньями становимся...» И при этом Нюра вроде бы понимающе, сочувственно поглядывала на меня. А возможно, мне это казалось только...



СОБРАТЬЯМ

Утешали меня:
«В мире — все относительно!...»
Потому и стихи
До особой поры
Не порывистым ливнем —
По капле медлительной
Проступали, как сок
Из-под внешней коры.

Собирались мои
Запоздалые строки,
Зачастую дышали
Излишней тоской.
Я нередко робел
Над сюжетом глубоким,
Как над самой ретивой
Сибирской рекой.

Вдруг... подхватит меня
Вековая стремнина,
К мелководью отбросит:
Не тот, мол, пловец!
И придется стоять
Над зеленою тиной,
Вдалеке от людских
Заповедных сердец.

Для того ли рожден,
Чтобы в строгом порядке
Рифмовать зарисовки,
Довольствуясь тем,
Что творенья мои,
Точно лысины, гладки,
Соответствуют блеску
Заезженных тем?

Нет! Рожденье мое —
Будто огненный выдох
Той земли, где в боях
Расплавлялась броня...
Может быть, на последнем дыхании
Выдам
Все, чем жизнь до краев
Наполняет меня!

* * *

Я чувствую песчинкой одинокой
Себя вот здесь,
В потоке городском...
Кто там живет,
За синевую окон,
О чем поет, печалится о ком?

Неведомо...
Немыслимо и жутко,
Когда представляю,
Что в какой-то миг
Могла бы ты пробиться незабудкой
И отцвести бы
Под осенний вихрь!

И я в людском течении —
Прохожий.
Где мой тупик?
Не думать бы о нем.
Ведь мог бы я
Взойти былинкой тоже
И враз угаснуть сенокосным днем...

О, жизнь моя —
Случайное явление!
Я временами радуюсь тому,
Что мне дано природою
Прозренье,
Чтоб я познал
И вечный свет, и тьму,

Чтоб мог сегодня
Я поведать слово
Своей земле, не жалуясь на то,
Что и меня
Она смогла с половой
Просеять сквозь худое решето...

* * *

Исцелите меня,
Серебристые обские плесы!
Я хочу воскресить
Бесшабашную удасть свою.
Угасает июль...
Но пока не поблекли покосы,
Может, я для любимой
Венок запоздалый совью.

Я сплести не успел
Тот венок из душистых ромашек,
О котором она, вероятно, мечтала
не раз.

Убедился поздней,
Что и я огрубел от промашек.
У причала стою,
Как заброшенный старый баркас.

А в лодчонке одной
Затаились влюбленные двое.
Им доступна краса
И мелодия нежной реки...
Неужели метель
И над ними когда-то завоет?
...Сохраните любовь!
Сохраните, всему вопреки!

ХОДИКИ

Замшелый дом, закрытый на засов,
Я распахнул —
И ветер заметался.
А неподвижный маятник часов
Во мне внезапно болью отозвался.

О, боже мой!
Как горько сознавать,
Что вся вот эта
Старенькая мебель:
И стол, и деревянная кровать —
Все долговечней,
Чем отцовский жребий...

Приемлю в жизни радость и беду!
Да, мы с отцом —
Цепи единой звенья...
Цепочку дерну,
Стрелки подведу
И ход часов услышу на мгновенье.

Николай Астраханцев

НЕ ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ

Рассказ

Во дворе Одинцовых раздался стук: резкий и трескуче-звонкий. Невысокий коренастый Андрей, мужик лет тридцати, с придыхом хакая, колот березовые чурбаки под старым навесом — дрова на зиму запасал. Ширококоскулое горбоносое лицо налилось вишневым соком и было потным. Капельки пота скатывались по небритым щекам на обветренные толстые губы, на раздвоенный подбородок, и он, не выпуская топора, верхонкой или рукавом телогрейки смахивал их, отплевываясь вязущей солоноватой слюной.

А на крыльце, опираясь о суковатую палку, сидел дед Ефим и наблюдал старческими подслеповатыми глазами за работой сына.

Из дома вышла и направилась в стайку с ведром помоев Зинаида.

— Смотри... не упарься-я! — недобрым насмешливым взглядом словно ошпарила она Андрея.

Дед Ефим растерянно хмыкнул — побаивался сноху.

Крепконогая и грудастая Зинаида быстро, не задерживаясь возле мужа, прошла в стайку.

Андрей со злостью и силой швырнул топор. Острое лезвие коротко и тонко застонало в сучковатом полене.

Настроение испортилось, как и погода.

Еще утром было солнечно, воздух обжигал морозцем, а к полудню потеплело: затянуло небо клочковатыми серыми тучами и вокруг стало пасмурно и тоскливо...

Зашел было в избу. Пнув попавшего под ноги кота, потоптался возле телевизора, так и не включив его, вышел на веранду.

— Ты вчера где шландался? — пыхтя самокруткой, спросил дед Ефим. Прячась от ветра, зашел он с улицы вслед за сыном. — Такой кордебалет устроили!

— А! — устало махнул рукой Андрей. Злость у него прошла, только подергивались губы. — Горячевой Галине... сено привез. А эта — коброй...

— Хи! — ерзнул старик, — Галка-то — баба в соку...

— И тебя туда!

— Тоды чего наша-то раскудахталась?

— Поди спроси ее.

Помолчали.

— Приручила она тебя, как теленка, — маленькое сухонькое лицо старика сморщилось. Только кустистые, с проседью, брови нависали над узкими щелками глаз. — Бабу, ядри вас, в вожжах держать надо...

— Хм! В тебя такой. Что уж ты посеял, то и выросло. — Андрея злили насмешки отца. — У матери не пшибко ты куролесил.

— С доброй бабой и дурак мужик хороший будет. А о твоей матери и неча говорить... Царство ей небесное...

Не сразу заметили, как мелкий морозящий дождь забарабанил о крышу, дощатые стены веранды. И когда шелестящий гул заполнил улицу, двор, сад и кинулся за огороды в поле, Андрей, услышав протяжное мычание коров, вздрогнул.

— Слышь, батя?

— Чего?

— Коровы ревут, — младший Одинцов выскочил на крыльцо. Сквозь седую пелену дождя фермы было не видно. Не заметил, как подошла Зинаида.

Он мотнул головой, как бы отмахиваясь от назойливой мухи.

— Чего мордой крутишь? — лицо Зинаиды как напудренное, и только большие серые глаза под тяжелыми веками потемнели. — Завтра к председателю пойду. Пусть разберется.

— Ну чего ты? Не слышишь, коровы ревут? И вообще... хватит! — Андрей поднялся и угрожающе сжал кулаки. — Срамотину на нее не возводи!

— Напугал! — подбоченилась Зинаида и срывающимся голосом крикнула: — Светка, Валька-а... собирайтесь! Неча нам здесь делать.

— Чего несешь, ботало?! — Одинцов скривился и полез за папиросами. Красные пятна выступили на лице. — Никуда они не пойдут.

— Тебя забыла спросить! Вон бежит твоя стерва — пусть тебя и спрашивает! — и хлопнула дверь.

Андрей повернулся к улице, и сердце его бешено заколотилось. Не разбирая дороги, по улице бежала Галина Горячева...

Едут Андрей с Колькой на дальние покосы. Откормленные лошади лениво трясутся по пыльной, вымороженной ранними заморозками, дороге. Безветренно. Предвечерний воздух теплый и светится оранжевым светом. От этого золотятся стога на черно-синих полях и в тенях березовых рощ струятся дымчатые сумерки.

— Ты чего это, Кольк, щеки шаром надул? В школе, наверно, как мамка... молчуно сидишь?

— Не-а... — смеется неровными зубами мальчонка. — Это я так... без привычки...

— Гм! Так привыкай быстрее, — улыбнулся от такой детской непосредственности Андрей и шершавой, огрубевшей от работы рукой легонько скользнул по вихрастой го-

лове Кольки. — Смотри, красота-то какая!

Андрей любил родные места.

В детстве, в ясный солнечный день, подымался на самый высокий гребень — далекий дымчатый горизонт зыблется, кучевые облака виснут низко. И ему казалось, что, если дойти до горизонта, можно сесть на облако и полететь! Или опустишь глаза — лежат изрезанные оврагами бурозеленые балки, словно ветви могучего дерева, вдавленные, ветвятся. А между ними выпуклыми змеистыми валками лежат распаханые, опоясанные лесополосами, бугры. В верховьях балок, словно гнезда, березовые рощицы примостились. От них по кочковатому низу, по крутым склонам тянутся заросли черемухи, гибкого ивняка, калины, боярышника... Изпод почерневших, как бы обугленных, с наростами мха, замысловато переплетенных корневищ высоких верб сочатся родники — и уже ручейки, студеные, со звончатым говором, бегут в пруд. Над прудом, на плавном изломе склона, раскинула шиферные крыши деревня Байкаловка. В центре — асфальтированная площадь. Вокруг площади, возвышаясь громоздким величием, стоят двухэтажные здания: контора колхоза, Дом культуры, торговый центр. За конторой — березовая рощица, а за рощей...

Андрей напрягает зрение — старается что-то рассмотреть.

А за рощей, вверх по склону, нарушая стройность улицы, стоит пятистенный дом. Срубил его после войны Ефим Одинцов...

Кто-то проехал мимо дома на машине, и серый хвост пыли заслонил, спрятал от Одинцова родное подворье.

— Дядь Андрей, а, дядь... лошадьми можно поправить? — Колька широко распахнул голубые материнские глаза и доверчиво перелез к Одинцову.

— На, бери. Шибко только не гони.

Поскрипывают колеса, дорога толчками подкидывает телегу.

— Кольк, а Кольк?

— Чо, дядь Андрей?

— Отец-то письма пишет?

Мальчонка минуту помолчал.

— Мамка сказала... что нет... у нас пап-

ки. А без папки... плохо, — прошептал Колька.

— Это точно, — раздумчиво произнес Одинцов. В карих глазах его то вспыхивали искорки радости, то гасли, и тлела тихая, мучительная печаль. Он и сам не мог понять, что случилось. Всю дорогу ощущал прикосновение теплых рук и благодарный взгляд молчаливой Галины. Ему нестерпимо захотелось вернуться к ней и было потянулось к вожжам, но, встретив тревожно-вопросительный взгляд Кольки — смутился.

— Ты их... под горку, того... подгони. А то к вечеру не управимся...

На покосе, радостно одурев от густого запаха слежавшегося сена, от упругости своего сильного тела, Андрей весело кричал Кольке:

— Середину топчи, середину! Эх, ехали казаки!.. Середина, она, брат, середочка, должна плотной быть... Взяли!

И летел пласт сена, с хрустом вдавливался.

Радость старшего передалась и мальчонке. Колька прыгал, бегал по возу, и тонкие его ручки взмахивали — как бы пробовал свои крылья едва оперившийся птенец.

Потом в четыре руки тянули веревку — утагивали сено.

Глядя на Кольку, хрупкого, но настырного, Одинцов хмурил в изумлении густые грацинные брови, и теплое нежное чувство разливалось в нем, плескалось в прищуренных глазах. И уже подъезжая к дому, поймал себя на мысли, что не дала ему судьба сына, обидела.

Приехав, подхватил Кольку с воза и на руках внес в избу.

— Хорош у тебя сын, Галина, — тихо, как бы прислушиваясь к своим словам, произнес Андрей и, не скрывая своего изумления, смотрел на хозяйку.

Галина, отойдя от плиты, была раскрашенная и... красивая. Светло-русые волосы, спрятанные под белым платком, свисали волнистой прядью и закрывали чистый выпуклый лоб, тонкие рыжевато-коричневые брови. Глаза распахнутые, сияющие, смотрели на Одинцова спокойно и выжидательно.

И он растерялся.

Пробормотал:

— Сено... куда сваливать?..

Хозяйка обрадовалась прервавшемуся молчанию, засуетилась. И в ее суетливости, в нервных движениях тела было столько девичьей неловкости и смущения, что Андрей почувствовал, как молодым хмелем забудоражило кровь.

Выйдя вслед за Галиной из дома, отвязал веревку, сбросил бастрик, подвернул и опрокинул телегу. И уже не глядя на нее, боясь, что Галина увидит его состояние, обидится, как можно равнодушнее попросил:

— Принеси вторые вилы.

— Зачем? — и ее лицо, еще не остывшее, залилось румянцем.

— Сложить надо... А то... чем черт не шутит... дождь может пойти...

— Что ты, Андрей... Андрей Петрович! Мне и так неудобно. Спасибо, что привез!

— Неси, неси, — почувствовав в себе уверенность, по-хозяйски прикидывая, сказал Андрей. — Какие тут неудобства!

И не дожидаясь возражений, подошел к сеновалу, поправил на настиле пахнущие прелью доски, подложив под них валявшийся рядом чурбак, и стал закладывать углы.

...Наступил вечер, когда они сложили сено.

На улице было уже темно. На зеленоватосинем небе горела одинокая звезда. У соседей доили корову, брякали ведра, и около пруда кто-то пытался затянуть песню.

Хорошо Андрею. Давно он не испытывал такого удовлетворения от сделанной работы, от прожитого дня. Празднично на душе, и мужская истома одолевает уставшее тело. И то ли темень, то ли неправильно поставленная лестница была причиной, но забила на его груди Галина подловленной птицей.

Жарко стало обоим.

— Не надо, Андрей, — грустно прошептала она, — и мягкие плечи безвольно опустились. — Не надо... не переходи порог...

— Да не пишет он тебе, не пишет! — Андрей никак не мог смириться с тем, что Галина остывает и неистово целовал ее мокрые щеки, безвольно мягкие солоноватые губы. — Кольке... Кольке... без отца... плохо.

— Пусти! Пусти, Андрей! — Галина выскользнула из его объятий.

— Ну чего ты? — он не ожидал этого. Так и стоял с поднятыми руками.

— Ох и медведь ты! — тихо сказала Галина, поправляя кофту. — Думаешь, твоим детям от этого легче будет?

— Больше ничего не скажешь? — Одинцов перевел дыхание и тяжело оттолкнулся от стога. — Чудачка...

— Нельзя так, Андрей, нельзя!

Зинаида вышла из избы уже одетая. Следом дед Ефим.

— Ты зря, Зинк, на рожон полезла. Не было у них... — и дед Ефим осекся, увидев приближающуюся Горячеву.

— Чо, подавился? — скривилась сноха. — Боишься, обстирывать будет некому?

— Кха! Рас-туды дорожку мать! Андрюха, слышал? — руки у старика тряслись. Тепло согнулось. — Эх, валенок неподшитый! Уйду я от вас, природы!

— А по мне хоть всемирный потоп! — презрительно смерила старика Зинаида.

— Чего грызетесь? — не отрывая взгляда от Горячевой, раздраженно спросил Андрей. И жене: — Ты хоть батю не трожь!

— Да пошли вы все! Светка-а, Валька-а... скоро вы там?

Из избы вышли дочери — погодки. Обе чернявые — в отца, испуганно смотрели на взрослых.

— Что еще придумала? — сжав челюсти, спросил Андрей. — Собралась уходить — уходи! Душмотательница! — И накинув плащ, пошел навстречу Горячевой. Распахнув калитку, тревожно смотрел в приближающуюся голубизну глаз Галины. И когда увидел в них испуг, устало облокотился на ограду.

Зинаида то ли из любопытства, то ли из ревности подошла к нему — ждала.

— Андрей... Андрей Петрович! — борясь со сбитым дыханием, торопливо, словно боясь, что ее здесь не выслушают, заговорила доярка. — Там!.. Там... коровы на люцерну... ушли...

— Что! — срывающимся голосом вскрик-

нул Одинцов и, не стесняясь женщин, ругнулся. — ...Пастухи где?

— До обеда Ваську Шевцова пьяным видела. На коне в магазин прошастал, — съезжившись от сырости, подсказала Зинаида.

— Чего ж молчала? А Корней?

— Счас... счас в больницу увезли, — уже спокойно сказала Галина. — Аппендицит у него. Если б не он, то кто б знал...

— Эх, мать честная! Где нож? Нож где, Зинаида?!

Зинаида вскинула злые глаза на мужа, на Горячеву и, не торопясь, переваливаясь уткой, пошла в избу.

— Быстрее ты! — крикнул Одинцов.

Зинаиде словно это и требовалось. Она вернулась и злорадно пошла на Андрея.

— Чо, торопишься? Успеете еще... Ишь! — и не выдержав обиды, заплакала.

— Дура! Чертова дура! — взбешенно заорал Одинцов и кинулся к дому.

Он не видел слез жены...

Моросил мелкий, холодный дождик, и вспаханное поле раскисло. Под ногами чавкала, тянулась за сапогами, как вязкое тесто, земля. Одинцов то бежал, то устало шел. Мысли путались и были горькими в своей нагой откровенности. «Эх, Зинаида-Зинка! Ни ласки... Ни нежности... Меня еще можно... можно понять. А тебя как вот... понять? Ничего ж не было!» И тут же: «Успел ли гурт дойти до люцерны?»

— К черту! Уйду от нее! — сказал вслух, и эта мысль так его ошеломила, что он оглянулся: не слышал ли кто?

Он не верил в уход Зинаиды из дома. Уйдет и придет. Не первый раз.

Но сегодня ему захотелось, чтобы жена ушла.

«Или я уйду, и крышка!» — ожесточенно подумал он.

Взбежав на бугор, он увидел зеленое поле люцерны и черно-пестрое стадо коров. Оно сбилось вокруг нескольких лежащих животных и непонимающе-испуганно мычало.

— Все, есть! — пересохшими губами прошептал Андрей. — Успели!

...Сколько времени прошло — он не пом-

нил. Стадо ушло в сторону фермы, а на поле лежали четыре прирезанные коровы со вздутыми животами. Одна была рекордистка.

Андрей, присев на камень на краю поля, закурил.

Подъехали люди, повозмущались безответственностью пастухов и споро, с крестьянской деловитостью принялись свежевать туши.

— Ну чо, бригадир, с мясом поздравить? — не то спросил, не то пригрозил последствиями управляющий Родионов.

— Пошел к дьяволу! — устало махнул рукой Одинцов, отыскивая Галину среди людей.

Галина стояла возле бывшей рекордистки и плакала.

— Устал я, — вздохнул Одинцов. Неловко тронул за плечо Горячеву. — Ты уж меня того... прости...

— Чего прощать, Андрей? Жалко все-таки.

— Да я не о том! — Одинцов обидчиво отвернулся.

— Не обижайся! — Галина робко улыбнулась. — Всякое бывает.

— Устал я...

Небо стало проясняться. Подул холодный ветер.

К морозу.

Владимир Переводчиков

ДОЛЖНИЦА

(монолог деда Пахома)

Охо-хо! Жизнь-то наша — жистянка. Вот так вот живешь, живешь, веселился, а потом раз — и как вот Авдотья... Еще вчера сь отчистила Михайлу Супова — тот на мацацikle жердяное долготье вез, а у нее на запло-те бельишко сушилось. Отчистила, курок своих созвала, коровенку подоила, выгнала на луг: «Иди, Майка, погуляй на воле». А ночью и сподобилась царствием небесным.

Дак я чо спросить-то хочу... как мне быть-то? Должницей Авдотьюшка-т перед мной осталася...

Единова приходит: «Дай, — говорит, — Пахом, рупь до пенсии». Васютке, дескать, посылчешку удумала катануть. Но я: «На, — говорю, — суседи, выручка промеж нас должна быть». Прямо новехонький рупь так и отдал...

А она: «Ты, — говорит, — Пахом, не сумлевайся — у меня на книжонке маленько есть, да сколупывать неохота».

И вот как токо Дуська, Федотики Кутенковой девка, пенсию начала носить, я ей сразу: «А что, Авдотья-то загогулину свою по-

ставила?» Она за жисть свою и расписаться-то не научилась — финтифлюшку поставит и все тут. Я вразумлял ее: «Головешка твоя недотыпанная, учись, чертовка старая. Ить ежели кто твою загогулину слямзит... Ить без пенсии останешься».

Подкараулил так вот пенсию, заявляюсь к Авдотьюшке и прямо с порога: «Не подумай, мол, что по рупь к тебе пришел. Козу пас на лужочке и... дух, мол, шибко хозяйственный несет из твоей избушки».

Старуха захлопотала, грому ухватами да сковородниками натворила. Налила щец. Хороши таки бараньи щецы стогошила. Ах ты, — думаю, — шельма, про рупь и не поминат!

«Много, — интересуюсь, — пенсии получила?» — «Да каво? — говорит, — много. Две пятитки, трешку да рублевку, да еще скокого гумажек. Тебе вот приготовила рупь».

И верно, достает рупь, не такой новый, как мой, но рупь как рупь... кладет на стол. «Спасибо, — говорит, — Пахом Фомич за выручку! Шчас медовушкой ты угощу». И в

подпол... Но я тут же на рупь перешнину поставил, чтоб, значит, ненароком не сдуло на пол.

Пропустил три маленьких граненых бокальчика и разговелся... уши осклизли. Повернулся, что ли, как-то неладно, из рук у меня возьми да и выскочи вазочка с вареньем... Пятка у ее откололась, и варенье поползло по столу. И рупь с нижней стороны и подмо-чило.

Авдотья засуети-и-илась: «Ты, Пахом Фомич, не беспокойся — вазочка все одно старинна, век свой отжила. Ешно от прабабки досталась, китайска тем более, а с Китаем счас, ты сам знаешь, какие отношения... А рупь подсушим». И сует в печное чело его.

Тем временем еще по стаканцу — «под батожок»...

Токо за воротами про рупь-то вспомнил. «Да ладно, — думаю, — вертаться не стану — дороги не будет».

А назавтра лихоманка какая-то прицепилась: в брюхе лягушки квакают, в голове ровно дранье дерут... Слег.

Приходит проведать старуха, три пряничка притащила да кусок сахарку, да эту... пастилку одну беленькую, мягоньку. Верно, еще два во таких яблочка.

Достала платок, узелок стала развязывать, чую, рупь смекает. Надоумеваю: дескать, при сыне не думай вертаться. Егор-от, затопчи его муха, токо выманивал у меня на чекушку. И тут, видать, он унюхал: рублем несет — сел на лавку и сидит, как статуи берестяный.

Так с рублем и укачала, зараза старая... царство ей небесное.

Оклемався я маленько, взял в руки батожок таловый, к ей в гости нарисовался: «Я вот все не могу вспомнить, Авдотья, в каком годе Мишка Каргин Евсею Сапожникову челюсть набок своротил, будто бы за то, что он его Дашку Абфродитой обозвал, а потом все хохотали, когда оказалось, что это не оскорбленье вовсе, а как бы... любезное обращение».

«Пошто-то тебе снадобилось?» — говорит Авдотья мне. Я, мол: «В энтот годе у нас Сивуха ожеребилась Савраской, а через год —

Ванятка родился. Дак мне шибко стало интересно, который Ванятке годок пошел... бы, не война бы дак». Ну слово за слово...

В молодости своей глупой, прости господи, я за ей косяки давал... Плисовые шаровары у меня бывали. Сапоги дядя с прииску привез хромовы... голяшки из хрома, а переда из чущечей кожи — шагреньевы, на березовых колках, скрипучи, певучи, что твоя гармония.

Чечетошник я был — не приведи господи! Мы с братухой Еремой, бывало-ка, выйдем на крылечко, солнце за гору воротит: Ерема, братуха мой, на тальянке ка-ак вжарит «Светит месяц!» Я как рвану на крыльце-то плясову — дым коромыслом! И-и-их! — бывало... После вечерины моргаю одной, самой запошной в ласках и... О-о-о, я с имя со всеми шуры-муры устраивал... а вот с Авдотьей Пахомовой не пришлось. Она до моей службы невидна была, да и появлялась на игрищах через пято на десято. А уж когда отслужил, воротился, гарцюю по улице на коне. Мундир... Тута Георгий, тута — кокарда. Еду по проулку, девки оглядываются — Авдотья ухом не ведет. Догоняю: «Дак ить это, кажись, Авдокея Пахомова?!» Она — плечиком своим так... и глаза вот эким фертом. «Пахомова», — токо и выдала из себя. Выбразулиста была.

Меня это взяло. Как так?! Такому казаку не токо девки — бабы напоказ все тридцать два зуба выставляют... А эта... фуфыра, самохвалка... У меня тогда такие усы были! На каждый ус по девaxe подвесь — не почую: как крючья закручены!

Еду я за ней на Буланке своем, говорю: «Авдокея Спиридоновна, мол, сам бог велел уродиться Вам Пахомовой и всю жизнь ею и остаться...» Намекнул, дескать, имя-то мое како, а?! Я в молодости востряк был. Возы-мело... Попрохаживались мы с ней вечерков несколь... И все дистанцию держали. Идет обок, плечами так, глазами — вот эдак. Токо на старость лет иногда стала мне улыбаться: видно, маленько умом повернулась... А девки коло меня — сарафанили!..

Но посидел я как-то с Агафьей Даурцевой на завалинке, ногами на земле кренделя вы-

делывал, да руками маленько пошалил... Назавтра Авдотья... ха-ха, затопчи меня муха: «Уваливай, — говорит, — ко своей Агафьюшке и ко мне дорогу забудь, вот те — бог, а вон — порог!» — «Да Агафья-то Даурцева, — говорю, — почти вовсе глуха, об чем с ей, глухومتью, говорить, деревню будить!?» А она: «Я теперь тоже не слышу ваши льстивые слова...», — и совсем ко мне оглохла. Так вот и не съякшались с ей тогда.

Годов-то сколь прошелестело... мда-а-а...

Весной чекушку купил, с вышки вяленого мясца достал, шанежку прихватил, рубаху белу — заявляюсь к ней. Она, это... передо мной залебезила, загоношилась. Из ящика полшалак кашемировый на себя набросила. «Тю, — думаю, — дура стара, перед кем рядишься-то...»

Но посидели мы с ей маленько, попели, вспомянули и «Черемуху» и «Васильки»:

Оля сорвет василек, низко головку наклонит...

«Спиридоновна, — говорю, — скажи-ка мне, когда ты девахой была, ишо до твоего Савватая... Кто-нибудь из парней глянулся тебе?» Она говорит: «Глянулся. Евграха Бере-

зин». — «Тю-ю! Евграха-то Березин вовсе и не красивый был». Она говорит: «Хороший был Евграха». — «Хо-о-ороший... Красный, — говорю, — как рак, белобрысый. Нос вечно шелушился. И сам весь, как мешок с трухой. Да с таким на лавке рядом сесть противно». — «Кому противно — а с ем целовалась!»

Стыд сказать: с Евгра-ахой Березиным! Неужто у нас в деревне не было получше парней?

Встал я и говорю: «Ну и цалуйся со своим Евграхой!» И вылетел, што орел, из избы, чуть бабог свой не оставил. С той поры и не встречались.

А теперь уж все... Отчаевала Авдотья... отчаевала, царствие небесное ей.

А может, Авдотьюшка перед смертынькой своей споминала меня да мучилась тем, что рупь должна, и совестно ей было помирать, а помирать надо было... Да рази ж дело в рубле-е?..

Но вот у меня какое сумленье: может, она с Егором рупь-то передала, а тот, негодник, грех на душу взял да пропил его?

И вот что теперь делать?..

Лидия Хруль

МАТВЕЙ КОРОБОВ

Живет на свете плотник Матвей Коробов. Небольшого роста, сутуловатый, незрочный на вид мужичок с крупной головой и кротким, как у ребенка, лицом. Тихий, малообщительный. О таких обычно говорят: «Мужик он ничего, но немного того — повернутый». Есть у него одна непонятная для многих страсть — мастерить птиц. Когда сыну дали квартиру и одна комната в доме освободилась, Матвей решил оборудовать в ней мастерскую, перенес туда инструменты, сделал верстак, полочки.

— Делать нечего дураку, — ворчала жена Степанида, — кому нужны твои птички? Вон дед Аксенов корзинки плетет — пять рублей

штука. Настрогал бы хоть табуреток, все в дом копейка.

— Тебе что, зарплаты мало? — хмурился Матвей.

— Ой, мамочка, — пропела Степанида. — Много на твою зарплату чего купишь! Вон у людей ковры, машины, золото...

— От дура!

— Шт-о-о-о! — большая грозная Степанида подбоченилась, двинулась на Матвея.

— Н-ничего... проехали.

Матвей встал, молча вышел во двор. День только начинался. Неласковое утреннее солнышко упорно пробивалось сквозь слой плотных укрывших небо туч. Тучи грозно, неумоли-

мо шли к нему со всех сторон. Матвей посмотрел на небо.

Тяжелая, холодная капля упала на лицо, и сразу сыпанул дождь.

Матвей зашел под навес. Капли барабанили по стеклу, по крыше, шуршали в придорожной траве. Это был целый оркестр, какая-то зыбкая, странно-безотчетная тихая музыка, словно длинная тягостная песня.

Матвей любил слушать шум дождя. Скрипнула дверь, жена вышла на крыльцо, встала рядом. Матвей покосился в ее сторону.

— Все сердиться?

— Иди ты!.. — огрызнулась она.

Матвей вспомнил, как прошлый год жена заставила его сделать для продажи шкаф. Пошла в городе мода на старинную мебель. И интеллигентные люди озабоченно шастали по деревням, скупая у стариков допотопные шкафы. У Сапунихи такой шкаф уволокли прямо из стайки. Степанида обхаживала мужа дня три: «Если тебе приспособить такие шкафы делать, деньги рекой потекут...» Матвей сделал шкаф за неделю. Договорился с машиной, в воскресенье повез на базар.

Ему, как говорится, и стать не дали. Взяли сразу, как только выехал на базар. Матвей положил деньги в карман. И вдруг на душе так нехорошо стало, будто пришел он на праздник в гости, а ему вместо курицы на тарелку дохлого воробья кинули. Парень, который привез его в город, посоветовал «обмыть» продажу.

— А где тут?

— Можно в закуской, в столовой, в «кабаке», если путем...

— Давай в «кабаке», вези!..

Домой он возвратился чуть тепленький. Степанида поджидала его у ворот.

— Ну, шкаф продал?

— Продал.

— А деньги где?

— Спать, старуха, спать...

— Я тебе дам спать, черт горбатый! — Степанида так огреда мужа по спине, что он, и без того слабо державшийся на ногах, рухнул прямо у ворот и проспал там до позднего вечера.

Новокузнецк

Дождь перестал. Солнце засияло на небе, неожиданно такое большое, яркое. Сколько тепла, радости и счастья дарило оно вокруг!

— Так сколько тубареток делать? — Матвей, прищурившись, весело смотрел на жену.

— По одной в день.

— Значит, за неделю шесть штук?

— Ну.

— А если я их все за день сделаю?

Степанида недоверчиво покосилась на мужа. За всю жизнь она так и не научилась понимать, когда он говорит всерьез, а когда шутит.

— Счас прямо и начнем.

Матвей сунул руки в карманы, весело поглядывая вокруг, и пошел в дом. Войдя в мастерскую, открыл окно. Вдали был виден лес, река, высоко в небе тянулась цепочка журавлей.

Матвей взял поленце. Лицо его мгновенно преобразилось, в глазах вспыхнуло что-то яркое, как всполох, как круг боли, чувств острых, сильных, сладостно-мучительных... Матвей взмахивал топориком и выявлялось чудо. Сухое еловое поленце оживало и превращалось в птицу с гордо поднятой головой и тоскующими по небу крыльями. Через некоторое время Степанида заглянула в комнату.

— Сделал, — простонала она, — журавля сделал, черт горбатый!

Матвей сидел на подоконнике, обхватив колени руками, отрешенно смотрел на деяние рук своих. Лицо его было задумчиво и ласково.

«На меня он так никогда не смотрел», — кольнуло Степаниду. Захотелось крикнуть мужу что-нибудь обидное, злое.

Сдержав себя, она перевела взгляд на птицу, сердце невольно сжалось: столько в ней было человеческой тоски и боли...

— Что это она? — тихо спросила Степанида.

— Лететь не может, — пояснил Матвей, — вишь, крыло перебито.

Степанида тихо вздохнула.

— Ну вот, а ты говоришь...

Матвей хотел закурить, руки не слушались... дрожали...

Мэри Кушникова

КУЗНЕЦКИЕ ЛЕТОПИСЦЫ

В 1966 году в газете «Кузнецкий рабочий» появилась статья потомственного кузнецкого старожила — историка, педагога, страстного краеведа Антона Ивановича Полосухина, о котором мы не раз упоминали в публикациях и телепередачах. Называлась она «Кузнецкая летопись», и речь в ней шла о редком документе: «о летописи града Кузнецка», составленной местным жителем Иваном Семеновым сыном Конюховым.

Антон Иванович Полосухин намеренно пытался привлечь внимание к уникальному документу, который и по сей день хранится в научной библиотеке Томского университета, и вот какими словами заканчивал автор названную статью: «Хотелось бы сделать этот документ достоянием широкого круга любителей старины. Теперь, после создания в городе отделения Общества охраны памятников, я надеюсь, что этой летописью заинтересуются более внимательно и воздадут должное ее творцу. Копию летописи (лучше всего фотокопию) необходимо, конечно, иметь в нашем краеведческом музее».

Прошло 16 лет. В материалах конференции, которая проходила в Новокузнецке по случаю 350-летия Кузнецка, можно, правда, найти упоминание об этой летописи, но не более.

В 1978 году мне удалось познакомиться с рукописью Конюхова, о чем была сделана публикация в газете «Кузбасс», но «познакомиться» это отнюдь не то, о чем беспокоился Антон Иванович Полосухин...

Нам нужна была эта рукопись! Она очень была нам нужна! В любой копии. Хотя бы и

рукописной. Однако на сей раз библиотека Томского университета конюховскую летопись предоставить не спешила и даже категорически возражала против фотокопирования. Похоже, библиотека оберегала монопольные интересы. Впрочем, фотокопирование было почти невозможно — выцвели чернила. Пришлось решиться: рукопись была переписана от руки, хотя и с некоторыми опущениями, причем огромную помощь в этом оказала замечательная томская жительница Эльза Арминовна Захарова. По роду занятий она химик и, казалось бы, далека от охраны памятников истории и культуры, однако проявила такое горячее сочувствие к истории нашего края.

Рукопись, состоящую из 68 страниц, Иван Конюхов озаглавил так: «Памятные исторические записки, или летопись города Кузнецка с начала его основания и о некоторых событиях и протчем, учиненная в 1867 году и о последующих за оным».

Иван Семенов сын Конюхов большой грамоте не был обучен, никакой корысти для себя в ведении летописи не преследовал и о своей творческой кухне сообщает весьма простосердечно: «При сочинении сей записки я не имел под руками никаких актов, написал оную частью по из устных преданий мною от пожилых людей слышанных, частью из имеющихся у меня собственных записок, выписанных сокращенно из читанных мною книг. А также и о некоторых событиях мною записанных, а некоторые обстоятельства лично мною знаемые и на память приводимые, потому что многие обстоятельства как во

времени, так и в прочих обстоятельствах описаны могут быть неверно, а только по крайней мере приблизительно, имея преклонные лета, которых мне 75 и ослабевшую память, но будучи охотник до старины вздумал я написать сколько могу припомнить для незабвенной памяти в будущее время любителям старины. Писал же я как человек неученый, весьма простым слогом, по своему разумению, не соблюдая никакого порядка и кому доведется читать сию записку, прошу меня во всех погрешностях простить, а что в ней не исправлено — исправить, за что я буду благодарен. Кузнецкий мещанин Иван Семенов сын Конюхов. Есть еще и те погрешности, что заднее написано впереди».

Да, действительно, грамотой и слогом автор не блистал, но какая гражданственная забота о сохранении памяти для будущих поколений вела его неискусное перо!

В рукописи Конюхова 33 главы. Даже из оглавления видно, что краевед-самородок имел лишь одно стремление: сохранить для потомков все, что казалось ему интересным и важным из истории своего города и из того, что мог наблюдать он сам.

Вот, например, названия нескольких глав: «О первоначальном основании города», «О названии некоторых мест», «О ценах на хлеб и наводнениях», «О пчеловодстве», «О приезде значительных лиц», «О пожарах», «О переменах воздуха». Такие главы соседствуют с рассказами о «чудесах»: «О явлении в улусе Сверкашевом татарину Бийбираку» или «О громовых ударах и ими убиенных». Но из этой рукописи мы узнаем «О первоначальных городских обывателях», «Об открытии училища», «О начале каменного строения», «О городском саду и благородном собрании», «О питейных домах и купеческих капиталах», «О казенных зданиях», «О прекращении продажи казенной соли», «О хлебном запасе в магазинах». И в каждом слове — биеение живой жизни уездного городка середины XIX века.

Все эти главы очень лаконичны, не более двух страниц каждая, но тем не менее достаточно образно живописуют «истоки истоков» Кузнецка.

Как видно из дальнейшего текста, летопись «учинена» Иваном Конюховым не случайно. Читаем: «Первоначально Кузнецкий острог основан на левом берегу Томи, на устье реки Кондомы и были окопы вверх по ручью, повыше нынешней крепости, а потом уже основан на нынешнем месте. А в 1617 году ставили его при князе Куракине. Из сего видно, что в нынешнем 1867 году с основания нашего города исполнилось 250 лет.»

Мы помним, столетний юбилей Кузнецка в 1717 году отмечался весьма торжественно. Сам Петр I был к нему причастен. Мы помним также, что еще в 1977 году в Новокузнецком краеведческом музее до начала его реконструкции, кстати, затянувшейся на годы, можно было увидеть фрагмент трехметрового деревянного креста, который по повелению Петра был воздвигнут в честь первого юбилея Кузнецка на том месте, где впоследствии планировалась постройка храма «во славу мирного града Кузнецка». И действительно, в 1621 году «была уже в Кузнецке церковь деревянная во имя Преображения господня, которая и ныне существует, но уже каменная», — сообщает Конюхов. По архивным же данным, собор Преображения, который сейчас внесен в списки памятников, подлежащих охране, был построен в середине XVIII века и именно на месте, указанном в Конюховской летописи.

Судя по всему сказанному, основание Кузнецка в 1617 году было событием для кузнецов весьма памятным и почитаемым, потому к 250-летию основания города Конюхов и «учинил» свою летопись. Мог ли он думать тогда, что еще через сто лет именно эта летопись будет поминаться как один из самых ценных документальных источников по истории Кузнецка...

Но — пока он об этом не думает. Он кропотливо вносит в свой труд все, что вычитал, слышал, помнит сам, заботливо отмечая на полях: «по устным преданиям», «по собственному... знанию», «из черновой старинной записи», «из сибирской истории Павла Небольсина 1849 год»...

Мы узнаем имена первых московских воевод «в 1618 году велено быть в Кузнецком

остроге первым московским воеводьям Тимофею Степановичу Боборыкину и Осипу Герасимовичу Оничкову... А в 1635 году даны всем сибирским городам печати и гербы. Городу Кузнецку герб — волк. В то время учинены остроги Сосновский, Верхотомский, Спасское государево село, в сии остроги посылались письменные головы и дети боярские из Томска pogodно...» Эти сведения не новы, но здесь вспыхивает некий сигнальный огонек — «Спасское государево село». В течение столетий села нередко получали названия по храму, который в них стоял. В недрах Томского архива мы нашли сведения о Спасской каменной церкви первой половины XVIII века в селе Ишим Яйского района. Так всегда ли Ишим назывался Ишимом, и не к тому ли Спасскому селу середины XVIII века ведут его корни? Тем более, село государево, ему максимальное внимание! Может, именно отсюда величественность каменной церкви, отсюда богатый ямской промысел, коим славен был Ишим еще во времена Радищева, который дважды здесь проезжал и в Ишиме останавливался...

О Кузнецкой крепости Конюхов пишет как очевидец. Он помнит ее сторожевые башни, помнит вокруг крепости земляной вал и рогатки. В своей публикации Антон Иванович Полосухин справедливо и своевременно отмечал необходимость сохранения этого земляного вала, который надежно ограждал когда-то город от набегов кочевников. Итак, читаем: «До построения крепости город обнесен был земляным валом, рвом и рогатками, начиная по горе Вознесенской от реки, от самого крупного камня вокруг всего города и возле Казачьей речки проведен тоже до реки, через ручей или лог, что за крепостью был мост, где ныне прямая тропинка в село Подгороднее с горы на гору, и были три деревянные башни. Одна на горе Вознесенской у моста, другая по нынешней Успенской улице, к кладбищу, а третья — по Казачьей речке, называемая Фроловская, на том месте, где ныне Фроловская часовня».

Бесценные сведения в случае реставрации Кузнецкой крепости мы найдем и дальше. Как уже было сказано, на полях рукописи

впечатляют ссылки на источник: «о чем я слышал от стариков», «большую часть рогаток и две последние башни крепости я и сам хорошо помню». Любопытно, что и столет назад состояние крепости являлось предметом озабоченности кузнецчан: «В ныне же существующей, разрушающейся уже крепости ранее были каменные строения. Башни высокие у реки стражные (то есть сторожевые.— М. К.) с боковыми с оной помещениями и с двумя воротами от оной, по обе стороны каменные толстые стены, вышиной, примерно, около шести сажен. Вокруг крепости земляной вал, внутри каменные солдатские казармы длиною более 30 сажен, два штаба и оберофицерские дома, гошпиталь, арсенал и пороховой подвал...» Перед нами как бы оживает макет крепости, который до недавних пор можно было увидеть в Новокузнецком краеведческом музее, а также сохранившийся до наших дней план ее постройки начала XIX века: «Состоящий в крепости тюремный острог, гошпиталь и пороховой погреб переправлены в 1841 году нашей казной. Переправкой оной руководствовали архитекторы. 6 числа ноября переведены в острог арестанты...» Много ли изменилось во внутреннем облике этого острога за 50 лет, что прошли до момента, зафиксированного на старой фотографии из полосухинского личного архива, — «крестный ход», устроенный для узников острога в 1905 году...

По всему видно, что Конюхов озабочен разрушающейся постройкой крепости, чувствует, что он спешит зафиксировать существующее положение вещей. Именно поэтому он все описывает так подробно. Например, крепостная надвратная башня, которую мы все хорошо помним, обрастает дополнительными реалиями: «В 1842 году начали в крепости из башни строить острожную церковь во имя святого пророка Ильи, которую башню пожертвовал для церкви кузнецкий купец Илья Иванович Ивановский...»

А вот Кузнецк в пугачевские времена. Именно здесь находился с 1745 по 1773 годы Олонецкий драгунский полк, отозванный для подавления пугачевского восстания. В конце XVIII века войска в Кузнецке значительно

поубавилось, «квартировало $\frac{1}{4}$ роты артиллерийской, в крепости и на стенах оной находились пушки на лафетах, из которых производилась временная пальба» (это выстрелы, оповещающие о времени, род крепостных «курантов»).

А как образовалась «Слободка», вначале именуемая «Солдатской слободкой»? Оказывается, в 1836—1837 годах отведена земля за городом «инвалидным женатым солдатам для постройки домов и выдано им на постройку домов денег из казны по пятьдесят рублей, а к ним много пристроилось и городских жителей...»

Была в Кузнецке и богадельня, которая когда-то называлась «убогим домом», со своим же погостом, где, как пишет Конюхов, «и похоронили несчастных казенных, когда была за уголовные преступления смертная казнь, также застеганных до смерти или самоубийцев...»

Заметим это страшное «застеганных до смерти». Ведь это негласная смертная казнь — шпицрутены для солдата и розги для крепостного, — и о ней пишет современник, как о чем-то само собой разумеющемся. Это сообщение как бы довершает и иллюстрирует описанные гневным пером Берви-Флеровского телесные расправы, которые применялись к крестьянам Кузнецкого уезда еще в 60—80-е годы прошлого века.

Часто доводится читать и слышать, что чуть не до трети XX века Кузнецк был грязной деревянной деревней. Архивные данные давно внесли существенные коррективы в это представление, летописец Конюхов их дополняет. Например, на месте «убогого дома» был построен острог, в котором «помещались крепостные арестанты, и кирпичный сарай для делания кирпичей на строения крепости». Все это — с припиской: «О сем я сам хорошо помню». Это важно. Отменный кирпич, прочность которого сопротивляется взрывам, так что старые постройки как бы обороняют себя от сноса, и вместе с тем податливость которого позволяет тесать из него любые архитектурные орнаменты, не перестает нас удивлять и по сей день. Этот кирпич делали кузнецкие умельцы.

Но коль материал был, он мог служить для постройки каменных домов в Кузнецке. Вернемся к памятным домам Кузнецка, взятым под государственную охрану. Вот три каменных дома по улице Народной: бывшее казначейство — нынешний узел связи, бывшее уездное училище — теперь вечернее отделение сельскохозяйственного техникума, и бывший окружной суд, где теперь находится сельскохозяйственный техникум. Мы уже рассказывали о работе, проведенной в Томском архиве. Но архивные справки куда скучнее записок очевидца. Ведь Конюхов разворачивает перед нами картину общей застройки Кузнецка, просчеты планировки, называет даты, фамилии... Он сам — активный участник жизни города. Кстати, именно фамилию Ивана Семеновича Конюхова мы находим на документе — описи каменного двухэтажного дома, купленного для Кузнецкого уездного училища. Конюхов был как бы свидетелем при составлении купчей в 1838 году. Вот что говорит летописец: «Город Кузнецк проектирован по плану 1821 года, составленному земледелом Лонбертовичем, который утвержден был в 1834 году. Но как по оному плану Городская площадь показана была весьма малою, то в 1838 году отведены в оной места для построения домов». Итак, первый генплан Кузнецка насчитывает полтора века. Он не устраивал горожан, которые ратовали за красоту и удобство своего города, и потому «18 числа апреля 1838 года приговором вошли с представлением в губернское начальство... вследствие чего план на город Кузнецк пересочинен и в 4 число генваря 1846 года утвержден, в Кузнецке получен в 1848 или 1849 году».

А далее — интересная деталь. Наряду с достопримечательными событиями, поразившими воображение кузнецан или внесшими в жизнь города новые черты, как то: «В Кузнецком округе открыты первые золотые промыслы казенные в 1838 году», или: «В 1822 году марта 22 числа по полудню было в Кузнецке землетрясение, хотя не сильное, но чувствительно многими», отмечается также как особое событие: «В 1826 году открыто в Кузнецке народное училище, переведенное

из Туринска. Помещено в купленном для него общественном доме, что ныне дом стряпчего Плахина...»

От Конюхова мы узнаем некоторые черточки из истории просвещения Кузнецка и из биографии одного из немногих уездных училищ Сибири той поры, для которого столь много сделал в 30-е годы прошлого века его замечательный смотритель Николай Алексеевич Ананьев... Конюхов отдает ему должное за то, что он многолетне и рьяно «выбивал» каменное здание для училища и сорок лет отдал его процветанию. Но и до него были в Кузнецке и самоотверженные учителя, и тяга к учению, заверяет Конюхов: «Учителем первым был Михаил Гаврилович Лукин и дьякон соборной церкви Семен Яковлевич Хмылев». В промежутке между 1800—1826 годами, когда училище считалось закрытым, «дети, желающие родителями обучать грамоте учились у частных людей. Учение состоялось по славянской азбуке, часослову, псалтыри и письму, которым наукам и я обучался у пожилой девицы Дарьи Степановны Хабаровой с протчими моими сверстниками, а письму — в городском магистрате у коллежского регистратора Матвея Степановича Старкова».

В летописи Конюхова мы находим ценные уточнения и дополнения к уже известным нам архивным данным, узнаем, например, что бывшее здание уездного училища было куплено с аукционного торгового нарымским купцом Алексеем Семеновичем Родиковым у купца Ловыгина. И тут Конюхов сообщает недостающую нам дату: «Дом купца Ловыгина начал строить около 1815 года, что ныне народное училище». Таким образом, мы можем существенно пополнить историческую справку, сопутствующую списку зданий, взятых под государственную охрану.

Мы узнаем также, что первое каменное строение Кузнецка — Одигитриевская церковь, в которой, как мы помним, венчался в 1857 году Ф. М. Достоевский с М. Д. Исаевой, «начата строить в 1773 году каменщиком иркутским мещанином Почекуниным, вызванным для сего из Иркутска купцом Иваном Муратовым, по окончании постройки церкви

купец Муратов около 1780 года выстроил себе возле оной церкви каменный дом, записанный ныне окружным казначейством, который около 1802 года продан в казну за 450 рублей ассигнациями, в 1864 году поправлен и покрыт железом, возле него кладовые каменные, построенные в 1831 году». Так мы можем куда точнее датировать еще одно здание, взятое нами под охрану. Нынешний узел связи, бывшее казначейство, оно оказалось много старше, чем мы думали (мы относили его к началу XIX века). Более того, мы должны искать в соседних строениях первоначальные каменные кладовые. Ведь службы и надворные постройки составляют нынче редкие находки, настолько их мало сохранилось...

Мы узнаем, что другое взятое нами под охрану здание — нынешнего сельхозтехникума (бывшего окружного суда) построено тем же купцом Муратовым около 1805 года, после него было продано купцу Баранову, затем перешло к купцу Васильеву. В 1912 году оно было куплено акционерным обществом «Копикуз», но об этом Конюхов, естественно, знать уже не мог...

Мы узнаем, что здание Преображенского собора, приблизительно датированное нами второй половиной XVIII века, заложено было в 1782 году, причем строил его все тот же иркутский мастер Почекунин. А ведь найти имя автора такой постройки — а пожалуй, и целого ансамбля городской площади, — да в XVIII веке, да в Сибири — большая удача!

А знаете, когда появились первые балконы в Кузнецке? Иван Конюхов сообщает нам и об этой «достопримечательности»: «Балконы при домах сделал первым купец Петр Баранов при своем каменном доме в 1852 году. Второй был купец Алексей Бахтенев — при деревянном доме в 1866 году на оном доме мезонин первый еще в Кузнецке». Но... ведь речь идет о лучших домах Кузнецка той поры, а располагались они на маленьком пятачке — на городской площади или рядом с ней. Но — в «доме Курако», памятнике республиканского значения, который и находится у самой площади, как раз и был мезонин и балкон, с которого, судя по письмам «ве-

-ликого доменщика», он любил по утрам любоваться ландышами...

А может, это ныне не существующий дом купца Афанасьева, который составлял гордость кузнецан, выделяясь именно резным балконом и мезонином с цветными стеклами? Читая летопись Конюхова, еще острее сознаешь, сколько же мы утратили «родинок», которые могли лишь украсить помолодевший лик родного края.

Каменные фундаменты под деревянными домами тоже были примечательным новшеством во времена Конюхова, и он о них сообщает: «Каменных фундаментов первый дом построил я в 1854 году, второй — мещанин Павел Мазакос в 1855 году, третий — купец Дмитрий Насонов в 1856 году». Все это очень важно для датировки охранных списков. Поскольку Кузнецк был весьма невелик, а все, о ком пишет Конюхов, как уже было сказано, жили в основном на одном пятачке, то, может, один из названных домов середины XIX века и есть тот самый «дом Фонарева» — деревянный на каменном фундаменте, украшенный дивной резьбой, который известен нам еще и потому, что именно в бане этого дома юный Валериан Куйбышев, приезжавший в Кузнецк к родителям на каникулы, печатал свои первые революционные листовки. Дом Куйбышева был разобран еще в 1967 году при прокладке обездной дороги, которая стоила Кузнецку потери градостроительного ансамбля конца XVIII — начала XIX веков. Но дом Фонарева уцелел. Возможно, сведения Конюхова помогут его датировке и составлению исторической справки для взятия под охрану.

Достаточно ли достоверны сведения Конюхова? Обратимся к описанию: «В крепости каменный тюремный острог, госпиталь, дом, занимаемый тюремным смотрителем, и пороховой подвал — все эти здания построены в начале сего столетия». Сведения подтверждаются. Названные строения мы в точности находим в планах крепости за 1807 год. Уже по этому подтверждению, так же, как и по скрупулезным ссылкам на источник, приведенным на полях рукописи, можно судить о достоверности сведений кузнецкого летописца.

А теперь представим себе, как выглядела в начале прошлого века так называемая базарная площадь Кузнецка. В главе «О гостинном дворе по нонешней моде» и в главе «О балаганах» мы узнаем о бойкой коммерческой жизни города. «Наперво построено мной (Конюховым) три лавки в 1832 году и в последующие годы начали уже к моим пристраивать и на против, ныне существующие».

Церковь оставалась к этим лавкам отнюдь не безучастной, как видно из следующей записи: «В 1866 году построил лавку и кладовые сын мой Михайло и в 1867 году приложил оную лавку к церкви, с которой церковь получает за место оными занимаемом от трех до шести рублей в год с каждой лавки...»

К «Увеселениям» Конюхов причисляет балаганы, в которых торгуют сладостями. И так — «Первую палатку холодную открыл с пряниками российский (то есть не сибиряк. — М. К.) именем Федосей в 1843 году. После него открыли другие таковые палатки с пряниками и подвижные столы...»

Но пряники пряниками. При доброхотном участии кузнецан в Кузнецке предусмотрены также украшения ландшафта и утехы «духовные»: «В 1867 году сделан пруд повыше от моста, за работу которого заплачено 72 рубля, деньги собраны по добровольной подписке». А «в 1863 году начал устраиваться городской сад за городом при Солдатской слободке по добровольным на устройство оного подпискам». Здесь же приписка другой рукой: «В 1869 году уничтожен». «В 1866 году учреждено собрание благородного общества в нанимаемом для того частном доме», — с такой же припиской: «В начале 1869 года оное уничтожено». Что же это за роковой год уничтожения садов и домов? Оказывается, виною многих бедствий были пожары. В 1801 году сгорел дом протоиерея и вместе с ним 17 домов. Пожары бушевали на маленькой площади в 1817, 1831, 1835, 1837, 1853, 1854 годах и т. д. В 1835 году начисто выгорели села Ильинское и Бачатское. Кузнецк и его окрестности трепетали перед натиском стихий, как и большинство селений бывлой деревянной Руси.

Занятнейшая глава — «О платье и роско-

шах». Итак: «На моих памятках с 1800 года некоторые зажиточные люди немногие мужчины носили сертуки, женщины — юбки и длинные шушуны. На ногах ичиги и черки. Сапогов же носили немногие. Женский пол шушуну и юбки были повседневно больше холщовые печатанные или крашенные сандалом. С 1810 или 1815 года начали уже платья носить получше и пощеголеватей...» Появлялись и модники из «сибирского Парижа», каковым именовался Иркутск: «Около 1810 года по какому-то делу переселен был из Иркутска в Кузнецк из купцов Григорий Лысов. На нем на первом увидели мы енотову шубу, а на втором — на полковнике и коменданте Шепелеве, приехавшем в Кузнецк около 1820 года». Не обходилось и без казусов — кузнечане были простодушны, но насмешливы: «Еще в 1803 году, когда я был в ребячестве, впервые увидел на приезде порутчике в городовую команду капот с большим воротником, все бегали за ним, смотрели на воротник, называли его женский шушун» (очевидно, имеется в виду модный в то время редингот с пелериной).

В начале прошлого века кузнечане были явно воздержанны в еде и обиходе. Конюхов вспоминает: «От родителей своих я слышал, что прежде в Кузнецке чай имели только в двух лучших чиновничьих домах — у Годлевского Дмитрия Леонтьевича, деда ныне живущего здесь генерала Годлевского, и у другого чиновника же Мельникова, которые имели у себя крепостных дворовых людей, да и те чай употребляли не всегда, а всегда употребляли траву, называемую белоголовник. Самовары появились уже на моих памятках после 1800 годов у немногих. Воду для чая грели в черных медных чайниках на огне, раскладенном на шестке у печки на таганах».

Роскошь в Кузнецке не одобрялась, вообще к расточительству относились с подозрением. Так, купец Степан Полосухин по заказу поверенного Мельникова «привез из Ирбицкой ярманки осьминный штоф рому, за который заплачено было 10 рублей. Знавшие сие некоторые сильно удивлялись такой дороговизне и роскоши». Если с Ирбицкой

«ярманки» привозили пудовую бадейку меда, то и сами довольствовались, и еще продавали целый год в своей лавке по мелочи: «Мед покупали копейки, на три или на пять, больше на панихиду», — сообщает Конюхов.

Так что, «вот такую-то предки наши вели скромную и не роскошную жизнь, — читаем мы, — и на моей памяти в городе Кузнецке много учинилось перемен, умножилась роскошь, сластолюбие, так и в платье излишества, щегольство, особенно в женском поле». Но разве Берви-Флеровский не сообщает в своем блистательном очерке о Кузнецке про волну «роскошества», охватившую местных чиновников, когда провинциальные салоны соперничали друг с другом, не гнушаясь средствами. И разве в мордасовском салоне, описанном Достоевским в «Дядюшкином сне», мы не находим отголоски той смеси убожества и скарденной барственности, о которой повествует Иван Конюхов...

Рукопись Конюхова, как уже было сказано, состоит из 68 страниц. Это очень говорящая, очень сообщительная рукопись. На одной из ее страниц мы находим своеобразную рецензию: «Читал и принял за истину для передачи другим. Титулярный советник Фрол Григорьев Третьяков. 10 мая 1883 года. Город Кузнецк».

Очевидно, рукопись вызвала подлинную заинтересованность у кузнечан — патриотов своего города. Но интерес она пробуждала и выше. Так, сто лет назад, а точнее 12 августа 1879 года, томский миссионер Василий Вербицкий, человек образованный и имеющий вес в просвещенном мире, написал Конюхову весьма лестное письмо:

«Милостивый государь, достопочтеннейший Иван Семенович! При сем честь имею возвратить летопись вашу и прошу меня извинить за то, что долго продержал ее. Из нее я выкроил две статьи и сообщил их в западный отдел Географического общества. Князь Костров, секретарь Томского губернского комитета заявил, что готовит для Томских губернских ведомостей статью о Кузнецке. Я уверен, что без вашей ведомости и ему не обойтись. Видите, почтеннейший Иван Семенович, какое благо вы сделали всем, что вели

свои нехитрые, но правдивые записи. Кому бы они ни попались в руки, всякий воздаст вам должную дань благодарности, даже до отдаленного потомства. 12 авг. 1879 г. В. Вербицкий».

И в самом деле 7 числа февраля 1880 года, сообщает Конюхов, он получил в Думе тетрадку о городе Кузнецке, сочиненную господином князем Н. Костровым, печатанную в Томской типографии. В тетрадке сообщались сведения об истории Кузнецка от самых истоков, причем Конюхов очень гордится тем, что «к сим сведениям пренадлежит и моя летопись, составленная в 1867 году и все эти выписки подкрепляют и разъясняют одна другую». Вот как современники летописца высоко ценили его благородный труд!

А в конце XIX века действительно была издана книжка князя Кострова, которую Антон Иванович Полосухин уже в наши дни сумел выписать из Ленинской библиотеки. Он сообщает, что книжка редкостная, и в ней содержится интересный и полезный материал об истории Кузнецка, причем используются сведения Ивана Семенова сына Конюхова, кузнецкого летописца.

В заключение хотелось бы сказать о том, насколько порою подобные свидетельства достовернее и живее, вопреки утвердившемуся мнению, по сравнению с лаконичными архивными справками. Сколько раз ошибались архивы и оказывались правы очевидцы. Например, по косвенному свидетельству, город Прокопьевск получил свое название от монастыря святого Прокопия. Мы сделали запрос по поводу существования такого монастыря в нашем крае и получили ответ, что вообще в нашем крае никогда никаких монастырей не было. И многие на том успокоились. А между тем в состав города Прокопьевска входило, как известно, село Монастырское — податное село монастыря. На карте Ремезова 1701 года так и стоит недалеко от Кузнецкого острога нарисованный со всеми башенками монастырь святого Прокопия...

А потому — больше доверия очевидцам, больше доверия личным архивам — запискам, дневникам, письмам. Мера всему — человек! Его живой взор, живая душа, живое сердце. Мы так часто о том забываем... Сейчас, когда так ревностно берегут летопись Конюхова в недрах Томской университетской библиотеки, когда эта рукопись считается одним из вернейших источников о бытовой истории Кузнецка, мы забываем, что в свое время Иван Конюхов был просто старожилом родного города, ревнителем его истории, таким же, как Антон Иванович Полосухин или Константин Александрович Воронин сегодня. И должно было пройти сто лет, чтобы его свидетельство обрело силу документа. Но теперь мы это знаем, а потому обязаны помнить, что личный архив бесценен.

И еще. Последние строки автор кузнецкой летописи писал в 1879 году, напомнив еще раз о 250-летию своего города. С тех пор прошло сто лет. Век — это много и очень мало. Может быть, и сейчас живут в Кузнецке потомки Конюхова, у которых хранятся документы, связанные с историей города. Летопись Конюхова и высокая оценка, которую дали ей современники автора, еще раз напоминает о благородной традиции почитания собственных корней, которая издревле бытует на Кузнецкой земле. Почитав летопись Конюхова и оказавшись в Кузнецком районе Новокузнецка, чувствуешь: вот он, зародыш нового, молодого, сугубо современного города, который только что отметил свои первые полвека, — он существует, этот зародыш, предъявляет нам свой счет и постоянно напоминает, что дерево растет не с листьев, а с корней и что современные города прочно стоят именно на старых корнях, как однозначно подчеркивает в своем труде малограмотный мещанин Конюхов, добροхотный летописец Кузнецка.

Решая вопрос о судьбе каждого отдельного памятника старины в нашем крае, стоило бы вспомнить о рачительном летописце Конюхове и мысленно сверить решение с любовью к родному краю.

ЭХО ДРЕВНЕЙ ПЛЯСКИ

В истории народов часто бывает так, что какое-либо каждодневное, весьма обыденное явление со временем становится почти утраченным чудом. Обыденными были когда-то на земле туры и другие дикие животные, как и охота наших пращуров на них. А вот другая дивная картина: разложив в ночной степи костры, половцы пляшут вокруг них с острыми мечами в руках. Но через восемьсот-девятьсот лет композитор Бородин, а затем хореограф Фокин приподнимут поллог времени, и «половецкие пляски» станут знаменитыми.

Машина времени пока, к сожалению, — достояние фантастики. Ну, а раз нет такой машины, надо положить в рюкзак ручку, блокнот, поставить магнитофон и пойти из Кеморова пешком или поплыть на катере вниз по Томи к Писаным скалам, или вверх — в Горную Шорию. И тогда, по мере того, как вслушиваешься, всматриваешься, вдумываешься, постепенно создается эффект путешествия во времени.

Хотя цель может быть, как в моем случае, утилитарная — собрать материалы для постановки шорского сценического танца в коллективе художественной самодеятельности. Сугубо практическая цель обернулась неожиданно серьезным увлечением историей и культурой коренных сибиряков, в частности шорцев. И сегодня мне хотелось бы познакомить читателя с результатами своих наблюдений и размышлений о редком теперь, исчезающем в нашей стране явлении — культовой хореографии. Конечно, интерес представляет вся бытовая хореография шорцев, в которой культовую мы воспринимаем лишь как составную часть культуры, приемля в ней художественное и эстетическое, отвергая при этом шаманство.

Отправляясь в Горную Шорию, я, разумеется, знал, что не так-то просто встретить шамана или шаманку, потому что это прошлое

шорского народа. Однако твердо знал и другое: всякое явление оставляет после себя какой-нибудь след в памяти людей.

В Ильинке на вопросы о том, есть ли шаман в деревне, шорцы отвечали отрицательно. А в соседней с Ильинкой деревне Трехречка сказали, что у них шамана нет, но вот в Ильинке есть. Как свидетельствует историко-этнографическая литература, обычай скрывания шаманов существовал и раньше, видимо, с момента обращения шорцев в христианство.

Исчезновение шаманства повлекло, естественно, за собой и исчезновение его внешних атрибутов, в том числе и шаманского танца. Но существование сравнительно недавно шаманской пляски в полном ее блеске, наличие в сегодняшнем быту у шорцев в большом количестве примет «добрых» и «дурных» (нельзя, например, спрашивать человека «куда идешь», перешагивать через орудия рыбачьего и охотничьего лова и т. д.) давали некоторую надежду, что размытые следы некогда богатой культовой хореографии будут все-таки обнаружены.

Устные описания акта камлания не могли дать наглядного представления о пластике шаманской пляски. Необходимо было увидеть хотя бы малую частицу танца, чтобы затем с помощью сведений, почерпнутых из историко-литературных материалов, составить относительно правильное представление о нем.

Увидеть шаманскую пляску удалось в деревне Усть-Анзас. Житель этой деревни, сотрудник школы-интерната Софрон Алексеевич Судачков, показал несколько движений и приемов. Человек эмоциональный, легко возбудимый, несомненно с актерскими задатками, он прекрасно помнит весь обряд заклятия коня духу Ульгену и другие, которые перенял от своего родного дяди — шамана. Однако он отказался, не объяснив причины (очевид-

но постеснялся присутствующих коллег-учителей школы), продемонстрировать какой-либо ритуал целиком и ограничился показом отдельного момента самой пляски.

Вот как это выглядело. Софрон Алексеевич, одевшись в халат (шабыр), обувшись в ичиги и повязав голову платком, стал медленно обходить комнату, как будто изучал пространство, но взгляд его блуждал по лицам присутствующих людей, по предметам, находившимся в избе, словно не замечая их. Шаги были неслышные, крадущиеся, нога ставилась осторожно на пятку и как бы перекачивалась на всю стопу. Корпус довольно сильно был наклонен к полу. Временами Судачков, резко поворачивая голову, оглядывался или даже, слегка подпрыгивая, поворачивался. Правой рукой в меховой рукавице он ритмически похлопывал по левой руке, спрятанной в рукав халата. Обходя комнату во второй или третий раз, он неожиданно вспрыгнул на лавку, затоптался на ней, замахал руками, как отмахивается человек от пчел, прыгнул на пол и продолжил движение по комнате. В четвертый обход он также неожиданно, прямо-таки мгновенно нырнул под лавку, высунул оттуда голову, прижавшись щекой к полу, словно прислушиваясь к чему-то в подполье. Выбравшись из-под лавки, он сразу же прекратил свой странный танец. Весь эпизод прошел в тишине. Присутствующие сидели молча, как замороженные, лишь Судачков что-то тихо себе пришепывал. Это был единственный случай, когда удалось видеть шаманские манипуляции наяву. Из того, что показал Судачков, можно увидеть в чистом виде следующие элементы: мягкий, неширокий шаг перекатом с пятки через всю ступню на носок; наклон корпуса вперед, резкие повороты головы, плеч, всего тела; большие и маленькие прыжки. Это не был танец в современном понимании. Это была пантомима, организованная во времени собственным ритмическим аккомпанементом. Левая рука, спрятанная в рукав, означала бубен, а правая, в меховой рукавице, — орбу (колоушку). При сравнении свойств шаманского танца, который описали авторы прошлого, с пляской, продемонстрированной Судачковым,

принципиальной разницы между ними не обнаруживается. Та разница, которая есть в отдельных элементах, объясняется индивидуальностью исполнителя и относится к вопросам, так сказать, технологическим. И если бы Судачков обрел необходимое настроение, не постеснялся бы своих коллег, то его скромный набросок мог превратиться в ту самую буйную, яркую стихию, которую наблюдали в XVIII веке историки-географы Георги и Паллас, в XIX веке — исследователь европейского севера и Сибири Кастрен и миссионер Алтайской духовной миссии Вербицкий, а в 1926 году — врач из Томска Аравийский, изучавший медицинское состояние населения.

Обратила на себя внимание и одна женская пляска. Арбачков, пенсионер из города Мыски, сообщил, что в тридцатые годы ее часто исполняла на клубной сцене старуха по имени Макка. Нам продемонстрировала этот танец Мария Николаевна Токмашева. Она встала посередине избы, опустив руки вдоль корпуса, не спеша начала двигаться маленькими частыми боковыми переступаниями по сторонам воображаемого квадрата, на углах которого делала полный поворот на месте, не прекращая все те же мелкие боковые шажки-переступания. После поворота танцующая всякий раз низко кланялась. По словам Арбачкова, Макка, совершая переступания, перебирала в такт пальцами обеих рук, раскрытых ладонями вниз и поднятых на высоту плеч. У Токмашевой при первом обходе сторон квадрата руки были опущены вдоль корпуса, при втором — она, держа левую руку вдоль корпуса, правой крутила платок над головой. Кланялась Токмашева в отличие от Макки не вовнутрь воображаемого квадрата, а вовне.

Принципиальной разницы тут нет. Танец интересен своей композиционной завершенностью: лежащий в его основе рисунок-квадрат, неизменно повторяющиеся детали — полный поворот на углу квадрата и поклон.

Но почему — такой «неудобный», «неестественный» рисунок? Казалось бы, приемлемее — круг. Строились различные предположения. В книге «Собрание старых и новых путешествий Александра Кастрена по Лапландии, Се-

верной России и Сибири» находим любопытный случай, проливающий свет на суть пляски. Во время путешествия по реке Усе (Северный Урал) Кастрену из-за непогоды пришлось ночевать на борту маленького речного судна. И вот что он увидел, проснувшись от дождя и ветра: «Я приподнял полу палатки и был поражен престранным зрелищем. Возле огня двигалось что-то такое, что смутило бы и самого смелого, чуждого всяких предрассудков, человека. Это что-то было закутано в мохнатую оленью шкуру, по которой в самом фантастическом беспорядке болтались суконные полосы всех цветов радуги. Голову, плечи и часть лица покрывало нечто вроде колыка из шкуры росوماхи, украшенного блестящими медными кружочками, бренчащими на спине. Из-под этой косматой головной покрывки виднелись только два черных сверкающих глаза, пара толстых губ, широкие ноздри. Ростом это что-то было едва двух аршин, зато его оленья шуба широко растопыривалась во все стороны... Оно тихо ходило вокруг очага, останавливалось на минуту на каждой из четырех сторон его и кланялось на все четыре стороны света... Откланявшись таким образом каждой стороне, это село перед огнем, скрестив ноги, издало восклицание «у-у-у!» и принялось тихонько постукивать по очагу. Тут я догадался,— заключает А. Кастрен,—что это самоедское заклинание ветров...» (разр.—С. В.). При сравнении «самоедского заклинания ветров» и пляски, которую условно назовем «Макка», нетрудно заметить существенное сходство. Там и там «проекция» астральных представлений древних людей — поклон четырем сторонам света. Только «самоеды» четырежды кланялись на каждой стороне квадрата, поворачиваясь на 360 градусов, а шорцы, такой же поворот, но не раздельный, а слитный, совершали на углах. Но в танце «Макка», в сравнении с родственным ему заклинанием, сделан шаг вперед. Сохраняя древние традиционные выразительные средства и общий вид, пляска утратила культовый характер и из средства общения с «белыми» и «черными» богами превратилась в способ общения с

людьми; поклоны, ранее адресованные хозяину тайги, стали знаком внимания зрителю. «Макка» и образец бытовой хореографии, и культовый реликт в ней.

Как родственное явление — танец шачыг (окропление), который является частью одноименного с ним обряда моления духу горы Пам-Каре. Об этом танце нам рассказывал шорский писатель-сказочник Софрон Сергеевич Тотыш. Видел он этот танец в детстве — примерно в 1918—1920 годах. В обряде участвовали одни мужчины. Исполнять пляску вправе были только охотники, но Тотышу довелось наблюдать в роли исполнителя и богатого скотовода Тазраша.

Пляска была связана с культом горы, который можно проследить у народов Северной Азии. Паллас, например, подметил культ горы у жителей Южного Урала. «Киргизцы,— пишет он,— почитают эту гору за святую... да и ныне еще иногда приходят туда праздновать, совершая, по их обыкновению, хождение около горы и при этом молятся, стоя на коленях, омывшись наперед в близлежащих болотцах...»

Взамен каждый в своей молитве просил желаемого. После молитвы, принеся еще раз в жертву пищу, охотники приступали к еде и питью. После крепкого возлияния начиналось веселье, и открывалось оно танцем, который исполнялся человеком, понимающим в том толк. Танец начинался низким поклоном на восток, юг, запад, север — по ходу солнца. Вернувшись в исходное положение, танцующий начинал новую серию поклонов с той разницей, что перед каждым он воздевал руки к небу (вершине горы), словно прося чего-либо, а когда низко сгибался в поклоне, прижимал ладони рук к груди, благодаря духа от всего сердца. Дважды повторив этот ритуал, охотник начинал пантомимное действие-пляс. Суть пантомимы — восхваление «хозяина горы» и его сорока дочерей. Лексика танца не установлена, но по тем попыткам, которые предпринял Тотыш, и по устному рассказу, можно предположить, что традиционной лексикой почти не было или она находилась в слабо развитом состоянии. Были активная жестикуляция и мимирование. На-

пример, исполнитель с двух сторон руками обводил вокруг лица и, заканчивая движение, соединял пальцы обеих рук, сложенные щепотью под подбородком, то есть имитировал движение завязывания платка, и весь этот жест означал, что речь идет о красивом женском лице. Кроме жестикуляции были несложные наборы движений традиционной лексики — боковые переступания, маленькие прыжки, которые по характеру лучше отвечают слову — «скачки». Во время пляски охотник выкрикивал: «Шоу!» — хвала.

Вновь, как в пляске «Макка», видим элемент «станцовывания» четырех сторон света. У обоих танцев общая по принципу и причине композиция с разницей лишь в амплитуде движения. В танце шачыхг исполнитель находится на одном месте. Находится на месте и объект его внимания, своеобразный «партнер» — гора, которую не включишь непосредственно в «тело» танца, но она заставляет подражать себе: исполнитель должен был «торчать» на одном месте, как сама гора. В пляске же «Макка» амплитуда рисунка шире, костер или очаг в центре квадрата позволяет, манипулируя, вращаться вокруг него. Но поворот на месте и поклоны по ходу солнца — полная аналогия танца шачыхг с пляской «Макка». Однако танец шачыхг вместе с тем более сложный нежели пляска «Макка». В нем две задачи: нужно изобразить не только поклонение, но и сам объект поклонения — гору, хозяина горы — Пам-Кара. В нем слились две функции: культ и развлечение.

Оба танца можно отнести к наиболее ранним формам хореографии шорцев. Возможно, что эти два образца «старше» пляски шамана, так как их исполнение и их возникновение не требовали наличия шамана. Появление этих танцев можно отнести ко временам, предшествовавшим шаманству, когда культовый ритуал не был еще прерогативой шамана, жреца и т. д., когда процесс дифференциации еще только начинался.

Ритуальный танец шамана, шачыхг и пляска «Макка» — три примера культовой хореографии, которые помнят в Горной Шории. Причем, только два первых (танец шамана и пляска шачыхг) полностью носят культовый характер. Пляска же «Макка» — это переходная ступень между культовой и бытовой хореографией.

Шачыхг исчез вместе с исчезновением культа горы в первые годы Советской власти. Шаманская пляска помнится шорцами лучше потому, что шаманство, как отдельные рецидивные случаи, просуществовало дольше, чем культ горы. Пляску «Макка», по словам Токмашевой, можно еще и сейчас увидеть на деревенской гулянке, например, по случаю свадьбы, в исполнении какой-нибудь старой женщины, но этот танец, как мы уже отмечали, носит двойственный характер: культовый и бытовой. От пляски «Макка» легко перейти к рассмотрению бытовой хореографии шорцев в целом, но рамки отдельной статьи позволяют лишь заключить, что:

шачыхг — пляска охотников, связанная с культом горы, возникла раньше шаманского танца;

пляска шамана — своеобразное профессиональное бытование культовой хореографии; пляска «Макка» — переходное звено между культовой и бытовой хореографией.

Этих и других материалов хватило на ряд сценических танцев, которые были поставлены на самодеятельной и профессиональной сценах. Но дело в конце концов не в удаче отдельных танцев, а в отношении к истории и культуре края. Маленький опыт по воссозданию танцевальных традиций нашел своих последователей в среде балетмейстеров. На очереди возрождение танцевальных традиций телеутов и других народных танцев многонационального Кузбасса.

Нужно только взять магнитофон, блокнот, карандаш и... посмотреть окрест себя!

Валентин Махалов

В КРАЮ СОРОКА ПЕРЕКАТОВ

Многие счастливые минуты жизни связаны у меня с красавицей Мрассу. Она нащептала мне немало стихов и рассказов, щедро одаривала родниковой водицей и ни с чем не сравнимой хариузовой ухой. Она качала меня на своих упругих волнах, вливая в тело мое новые силы. Я полюбил эту реку. И вот уже много лет нет для меня отдыха радостнее, чем на ее берегах, нет рыбалки удачливее, чем на ее стремительных белопенных перекатах.

С каждым наступлением весны я начинаю жить трепетным ожиданием встречи с рекой, настраиваю удилишки-телескопы, подбираю крючки и блесенки, мастерю из пенопласта легкие поплавки, готовлю грузила из картечин, в который раз придирчиво перебираю содержимое моей рыбацкой полевой сумки. Я-то знаю, что нет ничего увлекательнее спортивной ловли — охоты на красавца хариуса. Знаю, что не обеднеют наши реки от этой честной рыбалки, которая была и есть вековой страстью настоящего рыболова-таежника, страстью не запретной, а совестливой в самой своей основе, в уважении к матери-природе.

И вот наконец наступает тот день, когда я с двумя-тремя товарищами, такими же, как и я, одержимыми любителями хариузовой ловли, отправляюсь в гости к своей реке. Какой-то будет наша новая встреча?..

В дороге, на вагонной полке, под убаюкивающий перестук колес я снова и снова переносюсь мысленно на поросшие густо тальником и черемухой берега небольшой речушки Бугзас, которая впадает в Мрассу в сорока километрах выше поселка Усть-Кабырза. Бугзас не однажды баловал меня богатым уловом, в его омутках, в глубоких вымоинах за камнями и под корнями подмытых деревьев таились полукилограммовые черныши, хищно стерегущие свою добычу. Местные старожилы называют Бугзас ручьем. И в самом деле он невелик — всего каких-то полтора десятка километров в длину, а ширина — во многих местах перепрыгнуть можно. А вот хариусу в нем привольно.

Я думаю о Бугзасе, а сам тревожно вспоминаю осень прошлого года. Спускаясь на лодке с верховий Мрассу, мы решили тогда остановиться на ночевку на этой речушке, а заодно и попытать рыбацкого счастья. Вечерняя рыбалка удалась на славу. В свой лагерь мы возвратились уже перед самыми сумерками. И немало удивились, увидев невдалеке от нашей палатки большую группу людей. На легком ветру чуть подрагивали крыльями три вместительные палатки, над костром дымилось в прокопченном «семейном» котле какое-то варево. Приткнувшись к берегу, стояли две большие лодки-тайдонки. На Бугзас прибыла первая партия лесорубов из Кабырзинского леспромхоза. Чубастый парень с мышцами борца-тяжеловеса в первые же минуты нашего знакомства объяснил цель приезда бригады:

— Будем брать по ручью кедр.

От слов его, от его могучей фигуры веяло бесстрашной силой и холодом, несокрушимой волевой устремленностью к выполнению плана...

В Усть-Кабырзе мы задержались недолго. Чуть больше часа ушло на закупку продуктов и поиски лодки. Лодочник, мой давний знакомый, уточняет с нами маршрут. Время — уже далеко за полдень.

— Где остановимся на ночевку? — спрашивает лодочник.

— Конечно, на Бугзасе, — говорю ему я. — По старой памяти.

Он смотрит на меня с нескрываемым сожалением:

— Память-то старая, а дела-то новые. Ну что ж, Бугзас так Бугзас.

Раньше Борис так не говорил. Всегда охотно останавливал свою тайдонку возле этой речушки. Значит, что-то стряслось...

Борис по натуре немногословный. Лодочник он отменный. Реку знает, как свои пять пальцев. Поднимались раньше мы с ним по Мрассу даже в самую малую воду, когда с бою приходилось брать каждый перекаат. Сей-

час, по весне, вода высокая — плыть куда легче.

Потому мы знаем: до Бугзаса доберемся часа за три, от силы за четыре. Так что успеем не только подготовиться к ночлегу, но и наловить рыбы для вечерней ужины.

Коротко взревел мотор, и пенный след выстлался за нашей лодкой. За крутым поворотом растаяли последние домики рабочего поселка, и сразу будто подвинулась к нам длинная цепь береговых скал, поросших березой и редким кедровником. Впереди было безлюдье, горы да бегущие встреч тяжелые буйные воды реки.

Короткая остановка у Черной речки, правого притока Мрассу. Первая проба на хариуса. Ловим в самом устье притока. Знаем, на Черной делать нечего, выше — она мертвая. Говорят, лет двадцать назад в ней было темно от рыбы. Я знаю печальную историю Черной. Когда по ее долине шла истребительная заготовка древесины. Брали и крушили все подчистую. О будущем реки никто не думал. Русло стало дорогой для трелевочных тракторов, омута наглухо завалили древесиной и ее отходами, а реку умертвили.

Я ловлю себя на мысли, что давно уже думаю о Мрассу, как о некоем едином живом теле. И представляю, какую тяжелую рану нанес реке человек, двадцать лет назад отрубив от нее крупный приток — Черную. Рана эта не зажила и теперь, хотя сейчас начинают уже поговаривать, что в Черную по весне стал заходить хариус. Робко, но стал.

От Черной до Бугзаса чуть больше семи километров. Мрассу в этих местах делает такие петли, что диву даешься. Есть тут, к примеру, такое место, где река, сделав более чем трехкилометровый виток, как бы снова возвращается к себе. Горловина этой петли шириной чуть больше полсотни метров — минута пешего хода. Возможно, пройдут века, и река прогрызет этот узкий перешеек, образовав тем самым еще один живописный скалистый остров.

Этот отрезок пути по Мрассу, пожалуй, наиболее красив. Он богат шумными куражистыми перекатами, здесь встречаются скалы дивной конфигурации. Многие из них поименованы то ли местными старожилками, то ли туристами — Пьющий Слон, Два Брата, Солдат...

Даже человеку, не обладающему особой фантазией и впечатлительностью, в этом природном Колизее обязательно увидится что-нибудь этакое неповторимое.

Раздолье здесь и для спелеологов. Малые и большие пещеры встречаются тут почти на каждом шагу. Поэтому мне мечтается, что наступит то время, когда сюда люди будут наведываться как в одно из святилищ при-

роды, что места эти, как им уже давно положено, станут в прямом смысле слова заповедными...

Но, как говорится, будущее далеко, а настоящее рядом. Рядом был Бугзас. Вот уже за поворотом показался знакомый остров, слева — ходовая часть реки, ее главное русло, справа — протока, даже в хорошую воду плыть по ней рискованно, у входа она мелка, а дальше — валун на валуне. Лодки, как правило, ее минуют. Но именно в эту протоку впадает Бугзас, когда-то счастливо открытая мною речушка. Конечно, местные жители знают о ее существовании, а вот случайным туристам она вряд ли известна. Тем более, что впадает Бугзас в протоку тихо и незаметно, скрытый густыми тальниковыми зарослями.

Борис делает право руля, и я, сгорая от нетерпения, поднимаюсь в лодке чуть ли не во весь рост, рискуя потерять равновесие.

Но что это? Где оно, тальниковое кружево, где мой веселый ручей, спешащий на встречу с большой водой?

Нас встретил голый, исковерканный до полной неузнаваемости берег, исполосованный вдоль и поперек глубокими тракторными колеями. И не было здесь не только деревьев и кустарников, на вывернутой наизнанку земле, загаженной масляными потеками, не росла даже трава.

Бывшее русло ручья, расхристанное трелевочными машинами, напоминало своими разветвлениями шупальца гигантского спрута, по которым в протоку медленно и униженно струились воды Бугзаса. Самое страшное, что я увидел в эти тяжелые для сердца минуты, так это стайки молодых хариузишек, беспокойно мечущиеся в глубокой тракторной коле, лишь наполовину заполненной водой. Они родились в этом ручье и по закону инстинкта весной снова вернулись сюда. И кто им объяснит сейчас, что не гениальная память подвела их, а варварское безразличие человека к природе и ее детям, человека, вооруженного не топором, а самой современной, самой губительной техникой...

Я вспомнил еще один из последних разговоров с директором Кабырзинского леспрохоза (теперь уже бывшим) Анатолием Иннокентьевичем Афанасьевым. Говорили мы с ним о кедре, о хищническом истреблении этого ценнейшего и прекрасного дерева в горношорской тайге. Кажется, он тогда даже почувствовал моей тревоге, соглашался с тем, что в этом деле надо давно навести порядок. Не знал я в то время, что директор леспрохоза буквально в эти дни заручился разрешением начальства на вырубку кедра до января будущего года. И получено это разрешение было как раз тогда, когда повсеместно было

наложено «вето» на заготовку древесины во всех кедровых урочищах. Наверно, в хозяйстве Афанасьева в очередной раз «горел» годовой план, если он получил сомнительное, с точки зрения закона, разрешение на «последнее убийство кедра». И этот последний страшный удар был нанесен Кабырзинским леспрохозом именно в районе небольшой речушки Бугзас...

Вместе с одним из приятелей я поднялся чуть не до середины течения ручья. Шли мы на этот раз уже не по таежной тропе, а по тракторной расхлябанной дороге, которая во многих местах пересекала ручей, вернее, то, что от него осталось. Больно было смотреть на омутки и омуты, заваленные искореженными деревьями, которые, видно, мешали подступиться к красному дереву, и их смели машинами, как ненужный хлам. Главным для лесозаготовителей было здесь «ухватить кубатуру», а кубатуру эту давал кедр. Все остальное было не в счет. Да и поваленный кедрач весь вывезти не сумели, может, из-за поспешности, может, из-за обычного в этих случаях разгильдяйства. Так что, по крайней мере, трети ценнейшей кедровой древесины суждено было гнить и погибать вместе с ручьем...

Когда мы возвратились к своей лодке, то даже немало повывававший на своем веку Борис понял, что надо побыстрее заводить мотор и убираться подальше от этого гиблого места, которое еще полгода назад могло претендовать на один из самых красивейших уголков Горной Шории. И вот снова вскипает бурный след за кормой нашей лодки, бьет в лицо тугой свежий ветер. Молчат мои товарищи. Молчу я. Настроение, как говорится, хуже некуда. Куда подевалось радостное предвкушение скорой рыбалки. Ощущение такое, как будто кто-то ни за что наплевал в душу.

Через час миновали еще один приток Мрассу — Кизас. Останавливаться не стали, решили поскорее добраться до места. Если уж не вышло с ночевкой на Бугзасе, то надо поторопиться, чтоб засветло доплыть до Узаса — конечной точки нашего маршрута. Там разобьем лагерь, а вопрос с ухой придется отложить на следующий день.

Узас — правый приток Мрассу, самый могучий и полноводный в ее верховьях. Он, пожалуй, один, обойденный пока браконьерами. И все потому, что словно сама природа позаботилась об этом. Его устье на несколько километров почти неприступно для любителей легкой поживы. Берега его круты и скалисты, само русло настолько порожисто, что бешеный поток воды валится по нему сплошным пенным клубом. Тут сети да и взрывчатка бесполезны: сети не поставишь, после взрыва рыбу не соберешь.

Зато для истинных рыболовов-удочников рыбалка на Узасе — большое удовольствие. В любом затишке, который минует главная струя, хариуса полно, сумей только его перехитрить — без ухи не останешься...

До Узаса оставалось еще километров семь, когда мы стали свидетелями очень красивого зрелища. Высоко в небе парили над нами две огромные птицы. Круг за кругом описывали они, и было в этом кружении что-то величественное, сказочное.

— Аисты, — восторженно запрокинув голову, сказал Борис. — Завсегда здесь встречаются.

«Если бы просто аисты, — подумал я. — А то — черные аисты. Редчайшая птица, давно занесенная в «Красную книгу».

Мой знакомый ученый-биолог специально ездил со мной на Мрассу, лишь бы понаблюдать за этой гордой птицей. Так вот он рассказывал мне, что каждая встреча человека с черным аистом — это праздник. Потому как эта птица в отличие от своего серого собрата действительно уникальна. И не только потому, что она редка. Серый аист вьет свои гнезда зачастую рядом с жильем человека, а вот черный опаслив и осторожен, гнездится, как правило, в глухих труднодоступных местах, и эту птицу не то чтоб увидеть вблизи, но даже сфотографировать стоит большого труда. Недаром снятый несколько лет назад коротенький фильм о жизни черных аистов стал своего рода сенсацией.

Вот уже около десяти лет прошло с тех пор, как первая семья черных аистов поселилась в верховьях Мрассу. Она свила себе гнездо на самом верху огромного дерева со сломанной вершиной, неподалеку от берега реки. Прошло время, и к этой семье присоединились еще две, возможно, их дети. Так что неподалеку от Узаса сейчас три гнездовья черных аистов.

Каково же было мое удивление, когда лодчик рассказал нам неприглядную историю, случившуюся прошлым летом. А рассказал он вот о чем. Какая-то подлая душа, а может быть и не одна, очевидно, возмутилась тем, что не дотянуться ей грязными руками и огненным боем к этим гордым и независимым птицам, парящим высоко в небе. И... разложила большой костер под деревом, на котором гнездились птицы. Но дерево выстояло, гнездо уцелело. И все-таки в эту весну птицы, возвратившись в родные края, миновали это гнездо, как зачумленное место. Надо быть очень злобным, тупым человеком, чтобы не понять, подносы спичку к костру, какое оскорбление наносится этим природе, какое черное, непоправимое зло причиняется ее живым детям...

Больше недели счастливо рыбачили мы на Узасе. Все было ладно, и вдруг за шесть дней до нашего отъезда в устье Узаса появилась компания, которая, расцветив угор польскими палатками, завладела речкой. Прибыла она с верховьев на трех резиновых лодках, как мы узнали позже, отправной точкой их маршрута был поселок Камзас.

При первой встрече с ними, а встреча была неизбежна, отнеслись мы друг к другу, как это и полагается на реке, дружелюбно. Неожиданно для меня я встретил немного знакомого мне парня-вертолетчика. В первый же день он немало удивил меня, выловив на спиннинг трехкилограммового тайменя. Удивил потому, что вода в Мрассу была по-весеннему мутной и таймень по всем рыбацким законам на блесну идти бы не должен.

Каждое утро, прихватив удилишки, по росной тропинке мы уходили вверх по Узасу на километр-полтора, разбредались по заранее облюбованным омуткам и прижимаем и начинали свою охоту на хариуса. Где-то часов в семь ежедневно, как по заведенному графику, мимо нас проходили вверх по реке четыре человека из знакомой нам компании. Обратное возвращались они под вечер. На наш вопрос: «Как рыбалка?» — отвечали односложно: «Плохо».

И в самом деле, по их сумкам было видно, что им не сопутствовала рыбацкая удача. Признаться, мы даже немножко жалели их и советовали не ходить далеко, а попытаться счастья здесь, в самом устье. Насколько наивными мы были в те минуты!

Старшим у них в группе был невысокий благообразный мужичок лет пятидесяти пяти с синими, коротко стриженными волосами. У него было лисье лицо, а глаза тихие, смиренные. Мой знакомый вертолетчик назвал его егерем, назвал бесфамильно. При случайном разговоре я слышал, как кто-то из молодых окликал его по имени — «дядя Саша»...

А вертолетчик продолжал «добывать» тайменя. Их у него накопилось за неделю чуть ли не поддесятка, в придачу его спутники будто бы выловили на удочку несколько увесистых ленков. Разгадку этого феномена я нашел буквально на следующее утро. Узнав, что в этот день наши соседи собираются отчаливать вниз, я решил по пути на рыбалку сделать небольшой крюк и зайти попрощаться с моим удачливым знакомым спиннингистом. Час был ранний. Самое время для спиннинговой ловли. Лагерь наших соседей еще спал. Было тихо. Только в самом устье Узаса на сбое воды, в мертвой зоне, там, где сходятся течения двух рек, чуть слышно плюхали весла. В туманной дымке едва различима была лодка и в ней — силуэты двух человек. Они выбирали сеть.

Так вот откуда ленки и таймени! Оказываются, ловится рыбка в мутной водичке. Да еще под охраной егерской службы.

Прощаться с вертолетчиками мне расхотелось. Я зашагал по берегу Узаса к своим заветным омуткам.

Возвращаясь вечером в лагерь, я поглядел на угор — палаток там не было. По угору гулял свежий ветер, пригибая вершинки молодых березок. На душе стало легче, свободнее. Не знал я тогда, что всего через пару дней я и мой товарищ художник Виктор Семенников случайно наткнемся на черный след матерых браконьеров, тех, кто каждое утро во главе с «дядей Сашей» поднимались в верховья Узаса...

А произошло это так: погода начинала потихоньку портиться, и хариус почти перестал клевать. И вот тогда-то и надумал я подняться километров на семь вверх по Узасу. А там по знакомой мне по прошлым летам полуслепой тропе, перевалив через перевал, выйти на богатую хариусом речушку Айзас. По старой памяти я знал, что оттуда с пустыми руками мы не придем.

Моим попутчиком охотно стал Виктор Семенников, человек уже немолодой, но закаленный в такого рода походах. А путь предстоял нелегкий, одним днем было не обернуться. Решили идти с ночевой.

Встали ни свет ни заря — и в дорогу. Очень уж хотелось захватить часок-другой утренней рыбалки. Спешили, потому до Айзаса добрались задолго до полудня. На самом гребне перевала и без того еле заметная тропка ускользнула из-под ног, в разлогу реки спустились напрямую, как говорится, по интуиции.

Шансов сбиться с пути было много, но все обошлось удачно. И вот мы на Айзасе. Наскоро разбиваем лагерь и, не теряя времени даром, начинаем рыбалку. Речушка светла, как слеза, потому хариуса на чистой воде нет. Он стоит в омутках и приглубках, прячется за камнями и под коряжками. Клев начинается отменный, хариус идет на червя крупный, чаще всего черныш. Иногда берет ленок. А тут уж надо основательно повозиться, прежде чем сильная упористая рыба будет твоей добычей. Слышу, как рядом ворчит Виктор, — ленок порушил ему снасть. Теперь возись полчас с лесой, готовь новый поплавок, новое грузило, крючок. Хорошо, если есть готовый запасной поводок. Но ведь мы не рассчитывали на столь крупную рыбу.

В общем, день у нас получился что надо. Поужинав великолепной ушницей, мы улеглись спать, полные радостного ожидания новой утренней зорьки. Где-то близко к полночи пошел дождь. И не просто дождь, а настоящий тропический ливень. Стих он только к утру, оставив после себя нудную морось. Мы пони-

мали, что с рыбалкой было покончено. Маленькая горная речка вспухла так, что к ней страшно было подступиться. Вода в ней неслась тугим мутным потоком. «А что творится сейчас на Узасе? — подумал я. Если эта речушка так разгулялась, то Узас, наверно, совсем медведем ревет, а нам через него переправляться вброд...»

Торопливо перекусив, отправились в обратный путь. Подъем на перевал по мокрой, оплетающей ноги траве, через многочисленные лесные завалы занял почти два часа. Дальше идти было немного легче. Прошло еще чуть больше часа, и мы вышли к Узасу, вышли ниже старого брода. Возвращаться назад не захотелось — так и так переходить реку надо было по горло в ледяной воде. Узас и в самом деле ревел, как осатанелый зверь.

Стали искать место для брода. Искали там, где потише, где можно перейти, с меньшим риском быть сбитым течением с ног. Спустились ниже еще на полкилометра. Тут река разливалась широко, но течение вроде бы было потише. Вырезали крепкие длинные шесты для опоры. Без них перейти Узас было немислимо.

Переходили в одежде — так было надежнее. Я вступил в ледяную воду. И сразу — по пояс. Опираясь на шест, медленно стал продвигаться к другому берегу. Когда дошел до середины, вода достигла плеч. Течение рвало из-под ног дно. Мелькнула мысль: как-то будет переходить Виктор. Он ведь много легче меня, а значит, ему труднее будет держаться на ногах.

Метрах в пяти от берега ноги потеряли дно. Омут! Мощная струя подхватила меня и, к счастью, сразу прибила к берегу. Тяжело дыша, я на коленях выполз на сушу.

Действия Виктора пришлось корректировать. Он переходил реку несколько выше, стараясь миновать омут. И все-таки его сбilo течением, но он сумел удачно выгрести к берегу.

Пританцовывая от холода, мы накрепко выжали одежду, быстро оделись и, согреваясь на ходу, скорым шагом пошли в лагерь. Надо было выходить на основную тропу, здесь, на берегу, было лишь ее подобие. Мы уже совсем хотели в поисках тропы отвернуть от реки и тут прямо перед собой увидели необычную запруду.

Нет, это была не запруда, а настоящая плотина, которая перехватила горло Узаса. Мы подошли к ней вплотную.

— Вот это да! — воскликнул Виктор. — И кто это умудрился такую громадину отгрохать? Да еще на такой быстрине!

Он словно забыл, что всего день назад Узас можно было легко перейти вброд.

Торчащие из воды бревна-сваи были свежего среза. Их оплетка и забутовка тоже говорили о том, что плотина сработана совсем недавно. Кем же? И для чего?

На второй вопрос ответ был ясен и прост: плотину со спускными лотками строили для браконьерского вылова рыбы. Массового вылова, что называется, полной охапкой.

Кто строил?

И тут я словно въявь увидел лица тех, четверых, которые каждое утро целую неделю шли вверх по Узасу, шли как на работу, уверенно, целеустремленно. И впереди этой четверки цепко шагал благообразный мужичок с лисьим личиком.

Так вот в чем была суть ихней рыбалки. Значит, целую неделю в поте лица осуществляли крупнейшее браконьерское предприятие, рассчитанное не на день-два, а на целую осень. Зримо нарисовался общий контур картины. Придет осень, рыба начнет с верховья Узаса скатываться на зимовку в глубокие Мрассинские омуты. И вот тут-то ее и подстережет огромная браконьерская ловушка. И повалится рыба по лоткам в жадные кошелки браконьеров, повалится не килограммами, а пудами, центнерами, вздохнешь...

Теперь, когда мне стали ясны многие звенья этой хитро и с размахом задуманной операции, я поделился своими соображениями с Виктором. И он, вспыхнув гневом, обнаружил еще одно звено браконьерской цепи. Звено, конечно, предположительное, но не такое уж и фантастическое. А как браконьеры будут вывозить отсюда свою добычу? Уж не на вертолете ли?..

Вагами мы попробовали было хотя бы частично разрушить плотину. Не тут-то было! Сваи, прижатые обратным течением воды, стояли намертво. Тут нужен был динамит, или трактор, или, по крайней мере, хорошая бригада добрых людей, вооруженная соответствующим инструментом. Да и то разрушительную работу можно было сделать только при малой воде...

Через день за нами пришла лодка, и спустя несколько часов мы снова были в Усть-Кабырзе. И сразу же я посчитал своим долгом нанести визит директору леспромхоза Юрию Ивановичу Рябину. Надо было рассказать ему обо всем увиденном нами, а главное — о браконьерской плотине на Узасе.

При нашем разговоре присутствовал участковый уполномоченный милиции Юрий Железняков, могучий парень, завоевавший авторитет среди местного населения не столько недюжинной силой, сколько честностью и неподкупностью. Я не однажды слышал, как неусыпно он ведет догляд за порядком не только в подопечных населенных пунктах, но и на реке. Сам был свидетелем того, как он

гонял браконьеров, снимал и резал их сети. И все это, я уверен, не было простой показухой, демонстрацией, рассчитанной на зрителя.

Так вот, выслушав меня, Юрий Железняков сказал:

— К сожалению, сельсовет у нас большой, территория его хорошему району под стать, а по европейским меркам — целой области. А стражей правопорядка у нас раз-два и обчелся. До всего руки не доходят.

Я знаю, что река — не его забота. И все-таки спрашиваю:

— А кто такой этот благообразный мужичок, работающий под егеря?

Железняков задумчиво трет огромной пертерней висок:

— Дядей Сашей, говоришь, его называли? Наверно это Сашка Сыч, таштагольский мужик со своими дружками. Из бывших егерей, а сам — браконьер лютый. Только скользкий — ужас. Его надо с поличным брать, а так — отвертится. Да и поддержка у него в Таштаголе есть, среди тех, кого он рыбкой балует. Вот так.

Директор леспромхоза внимательно слушал

наш разговор. О чем он думал, я не знаю. В Кабырзе он человек новый, как говорится, без году неделя. «Но он же — главный здесь человек, — думала я, — и не только начальник основного здесь производства, но и хозяин. А раз так, он многое сможет сделать, если захочет».

Если захочет? Конечно, дело это добровольное. И если Рябкин останется в стороне, его за это никто не осудит. С него главное спрашивают — план. И все-таки хотелось, чтобы он, как гражданин, как коммунист не остался в стороне. Ведь он не один. Слава богу, у него есть такие помощники, как Юрий Железняков...

А через пару недель я узнал, что сделал Рябкин доброе дело — послал на Узас людей, и они разобрали-таки браконьерское сооружение по бревнышку.

Разумеется, малыми силами в делах охраны природы трудно сделать что-то заметное, переломное. Тут нужна не частная инициатива — нужна организация егерской службы с хорошей опорой на общественность. И этот вопрос требует неотложного рассмотрения.

гг. Кемерово—Таштагол

Владимир Петраш

„ЕСТЬ У ВРЕМЕНИ ТОЖЕ ДУША...“

В предисловии к сборнику Николая Николаевского «Трудный день» (Кемеровское книжное издательство, 1982) поэт Игорь Киселев писал: «У Николаевского немало стихов по-настоящему интересных, пронизанных цельной и непосредственной, а главное — оригинальной мыслью».

Широк диапазон тем, интересующих автора. Ему близок и дорог сегодняшний день — в сборнике это стихи «Воздух стройки», «Радуга вблизи», «Трубопровод в шесть обхватов» и другие, понятен трагизм минувшей войны («Белорусская баллада. 1944 год»). Он умеет сказать о лучшем в человеческой душе (стихи «Каких событий отголоски...», «Сажая деревья...», «Песня»). Ему также близки и дороги темы общения человека с природой и отношения людей друг к другу. Именно здесь находится главный источник его вдохновения.

У Николаевского чувства лирического героя чаще всего гармонируют с окружающим миром. Отсюда такие строки: «И все, что ждет меня, — светло и небывало», «И радости предел неведом, и неба хочется глотнуть», «Уже мы у цели в счастливом пределе растений и неба, земли и луча». Почти в каждом стихотворении автор создает прекрасный запоминающийся образ. Птицы у него поют, «как будто воздух пьют и звук частят и чистят», осень — это «внезапного ветра шершавость и зябкая влажность куста». Пушистые шлепки жуков, мотыльковый рой, стоящий, как свеча, — все это удачные находки поэта. Точная метафора, яркий образ для него не самоцель. С их помощью поэт вернее отображает природу, действительность, мироощущение человека. Достаточно внимательно почитать такие стихи, как «Утренние птицы», «Идти к водопаду», «И листьев печальных прелесть», «На снегу высоком, душном», «Я услышал тихий звук», «Это какая-то мистика», чтобы убедиться в этом.

В стихотворении «Черемуха черна» после несколько описательного начала поэт пишет:

Вкус лета горько-сладкий...
Мерцают, посмотри,
С зеленою подкладкой
И ядрышком внутри.
Гуляет праздник жизни
В стволе ее литом.

Это уже сознательный уход от описательности и созерцательности. Ему гораздо важнее показать природу как бы изнутри ее самой. Поэт фокусирует свое внимание на внутреннем объекте. Стихотворение движется, живет, волнуется:

Вдвоем на ветке виснем
И ловим сладость ртом.
Опустим ветвь — устало,
Как сонный взмах руки.
А там еще осталось,
Там много для других.

Прекрасная концовка. Мысль поэта не замыкается на самом себе. Быть благодарным природе за праздник жизни, за наслаждение и одновременно помнить о других может человек неравнодушный к людям, впрочем, так же, как и неравнодушный поэт. Стихотворение состоялось, хотя в нем есть неточность — «поющие жучки» и еще четыре совсем необязательные строки:

Прими благодаренье.
От дома вдалеке,
Такое угощенье
Горчит на языке.

Николаевский почти в совершенстве владеет формой стиха, интонацией, иногда взволнованной, но чаще всего спокойной. Ритмом стиха, например, он может передать движение

бизонов или стремительный ход моторной лодки. Все это есть в его стихах. Это, так сказать, праздник жизни. А будни?

Пожалуйста. Автор сборника — журналист, и основная его работа — вникать в дела строительства Западно-Сибирского металлургического гиганта, в чувства, на первый взгляд, таких обычных современников. «Душа не терпит беспорядка», — признается поэт, и с предельной точностью разворачивает перед читателем картины необычной стройки — стихи «Домну передвинули», «Радуга вблизи», «Воздух стройки», причем находит такие слова, которые западают в душу:

Есть и у времени тоже душа.
Вал самосвалов
Почти фиолетов.
Рубцую дорогу,
Связал и смешал
Бетона и битума,
Гравия жар
С кипящим, фырчащим,
Масляным летом.
Огненно-черно-серебряный шар!

Да, действительно, есть чем любоваться на стройке. Ведь все это — дело рук человеческих: все тех же штукатуров-маляров, монтажников-верхолазов, шоферов, прорабов, которые со стройки «уносят в себе нескораемый свет, уже незаметный для глаза». О них Николаевский пишет с любовью и гордостью. Пожалуй, в каждом из них он умеет разглядеть самое лучшее. И свидетельство тому стихотворения «Трубопровод в шесть обхватов» и «У строителей жизнь кочевая». И не случайно у них «живность любая постоянный находит приют», не случайно «доброту и сказку будит золотой петушок», из-за которого даже спор разгорелся между прорабом и членами бригады. С доброй улыбкой рассказывает об этом автор и как-то ненавязчиво подводит нас к мысли: красивое — на стройке не лишнее. Пока живо понятие красоты и доброты в человеке, жива в нем и тяга к созиданию.

К какой бы теме ни прикоснулся Николаевский, флаги свои он не меняет. Берется и безуспешно за исследование жизненных

будней другого края. Здесь поэт замечает много дисгармоничного. Иногда его внимательный взор выхватывает и таких, кого мы обычно называем «человеком из подворотни». Что греха таить, есть в нашей жизни и такой тип:

Он маячит в отдаленье,
Как в общей песне звук иной...
Вина его, его беда?
Мы не узнаем никогда.
Так непонятна и тревожна
Ночная черная вода.

Конечно, здесь краски несколько сгушены: узнать-то можно, но по-существу поэт прав: такие люди должны вселять в нас тревогу.

В сборнике достаточно стихотворений подобного плана. Назову лишь некоторые: «Звонит извиненье, как первый ледок...», «Эта женщина молчалива...», «Наоборот», «Деревья сблизилась, густы...», «Гитара всхлипывала хрипло...», «Охотник», «Взгляд», «Голуби» и другие. В них Николаевский проявляет поразительную наблюдательность. Кажется, ничто не может ускользнуть от его внимательного взгляда. Даже самое мало-мальски заметное движение в природе, времени, наконец в человеческих отношениях фиксируется им, а мысль готова дать соответствующую оценку.

Описывая, например, обычную вокзальную встречу двух некогда любивших людей, поэт приходит к выводу, что «между чистой правдой и обманом не случайно много остановок». Он убежден, все зависит от самого человека. В самом деле:

Разве нежность может быть случайной,
А любовь случайной? А измена?
В каждом слове, в каждом взгляде тайна
Та, что явью станет непременно.

Прекрасное всегда живет «с потаенным ощущением бездны» — для него это ясно. Перефразируя строчку этого поэта, можно сказать так: то, что он уяснил для себя, «пусть будет ясно и ему» — его современнику.

Именно с думой о нем написаны многие стихотворения Николаевского.

Новокузнецк

Тамара Страхова

ПРО ДЕНИСКУ

Дениска — это мой племянник. Сейчас он перешел во второй класс. Когда ему было три-четыре года, редко какой день обходился без юмора, автором которого был Дениска.

РАСКАЯНИЕ

Дениска — натура увлекающаяся. Когда играет, забывает про все на свете. Разговаривает с игрушками, с собой. Для меня это время — самое приятное: могу читать, писать, не отвлекаясь. Так и на этот раз. Дениска в соседней комнате. Заигрался.

Тихонько открываю дверь и вижу: на полу рассыпана целая коробочка пудры. Он пытается замести ее в кучу, но пятно становится еще больше. Видит меня, испуганно и виновато произносит:

— Тamarочка, я твою мудру рассыпал.

СТАРИЧОК-ЛЕСОВИЧОК

Зашел в гости Володя Коньков, мой знакомый. Сидим, разговариваем. Володя — невысокого роста, с роскошной бородой, несколько лысоват.

Дениска осторожно подкрадывается ко мне и шепчет в ухо: «Это старичок-лесовичок, да? Попроси, чтоб он мне сказку рассказал».

— А ты сам попроси.

— Нет, я боюсь, а ты все равно уже с ним разговаривала.

В ДЕРЕВНЕ У БАБУШКИ

— Мама, давай этого хорошенького поросеночка никогда-никогда не будем свиной обзывать.

ПЕРО

Почти все мы в детстве чего-нибудь боимся. Дениска боялся... пера.

А произошло это вот как. Не помню, от

куда взялось у меня это перо, красивое, с переливами.

— Дениска, — говорю, — будешь баловаться, привяжу тебе перо, и улетишь далеко-далеко. Сказала, не надеясь на последствия, а они не заставили себя долго ждать.

Прогулки стали наказанием. Если на улице ветром проносило рядом голубиное перо, Дениска плакал и просился домой. Даже во сне однажды вскрикнул: «Перо!»

Пришлось принимать меры. Усаживаю его напротив, пытаюсь объяснить, что я пошутила, что перо — вещь не такая уж страшная. В конце концов уговариваю его взять перо в руки. Берет.

Через несколько дней захожу в комнату. Он играет на диване с любимой плюшевой собакой. Что-то бормочет. Прислушиваюсь:

— Вот будешь баловаться, привяжу тебе перо и улетишь, да не бойся, не бойся, вместе полетим.

МОЖЕТ, ОТКАЖЕТ...

Приходит соседка. Рассказывает о своем визите к врачу: печень болит, совсем отказывает.

Вечером Дениска:

— Ой, что-то бок колет, наверно, печень болит.

— А ты ляг на диван, отдохни.

— Ладно, лягу, может, откажет.

ОБИДА

Зимой, приехав в гости к бабушке, Дениска часто играл на улице с ребятами в войну. Строили крепость, потом шли в наступление...

Летом, приехав к бабушке, снова:

— Да, бабочка, если бы ты зимой не увезла меня в Кемерово, я бы давно генералом был.

— А сейчас ты кто?

— Всего-навсего капитан, — тяжело вздохнув, ответил Дениска.

СЮРПРИЗ

Дениска пошел в садик. Ест плохо и там, и дома. Купила ему пожарную машину. Приходит из садика, говорю:

— Будешь хорошо кушать, сюрприз получишь.

Машина ему очень понравилась, весь вечер не расставался. Утром, одевая его, обнаруживаю на коленке приличный синяк. «Это откуда», — спрашиваю. «А это я об сюрприз стукнулся».

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Решили заниматься французским языком. Дениска знает уже довольно много слов, здороваются только по-французски, причем, со всеми. «Молодец», — говорю, — теперь давай заучивать фразы. Скажи: «Жо маппель Денис». «Меня зовут Денис».

Дениска округляет глаза, появляются слезы. Потом выкрикивает:

— Ты сама жо маппель, сама, а я — Дениска, хороший, меня мама любит!..

Лениск-Кузнецкий

ОЙ, ТУЛУП, ТЫ, МОЙ ТУЛУП...

Разговаривать по телефону — одно из любимейших Денискиных занятий. Звонок. Дениска успевает к телефону вперед меня. Завязывается разговор. По-видимому, Дениску спрашивают, знает ли он стихи. Ну а как же! Совсем недавно мы читали только что вышедший сборник Любы Никоновой «Скрипичный ключ». Оттуда Дениска цитирует:

— Ой, тулуп, ты, мой тулуп,

Петли узеньки...

Забыл. Повторяет опять и опять. И вдруг на едином дыхании заканчивает:

— Сидит ворон на дубу,

Он играет во трубу!

Слышала бы поэтесса!

ВЫБОР ПУТИ

— Когда я буду большой, — говорит Дениска, — буду путешественником, из города в город буду ходить.

— Ну что ты, Дениска, что в этом хорошего: из города в город. Надо сначала учиться, потом найти интересную работу...

Он взбирается ко мне на колени и, заглядывая в глаза, говорит:

— А хочешь, я буду, как ты, филологом?

— Конечно, хочу.

— Мама, — обращается он к сестре, — я решил, что не буду путешественником, я сначала поступлю в школу, потом в университет...

— Вот умница, мой мальчик, а кем же ты будешь работать после университета?

Дениска, не задумываясь:

— Слесарем!

Владимир Матвеев

СТАРОМОДНАЯ

У женихов
душа к ней не лежит,
и девушка
совсем одна осталась:
не пьет,
не курит,
честью дорожит
и не спешит
преодолеть отсталость.

**ИНТЕРВЬЮ
С АВТОИНСПЕКТОРОМ**

— Есть у Вас
романс любимый?

— Да.

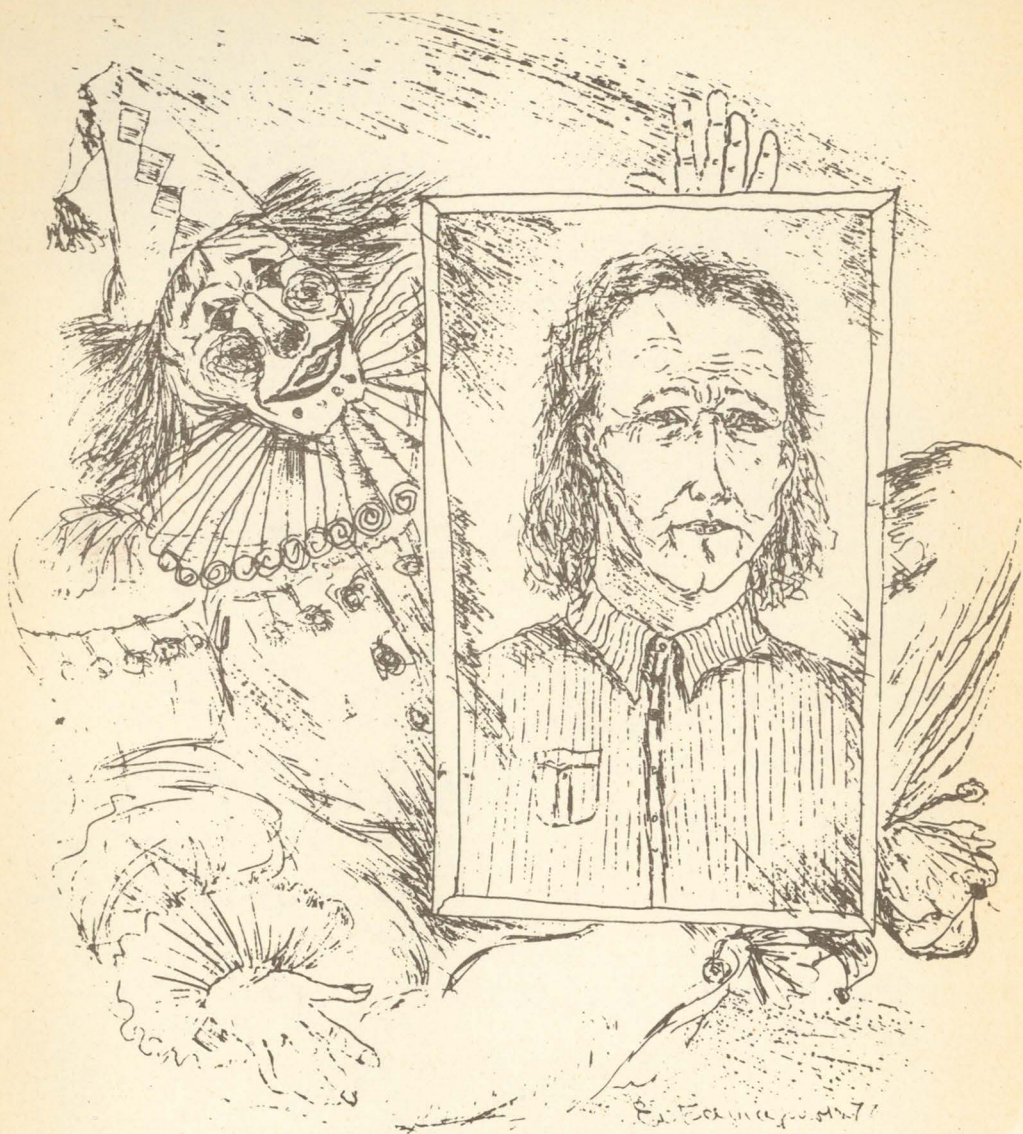
«ГАИ, ГАИ — моя звезда».

**СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ
ПРИЧИНА**

— Стыдись, Петров,
Дошел до ручки!
Где твой отец?
Вся школа ждет.
— В дороге папа...
Он с полочки...
К концу недели...
приползет.

**ИЗ ШКОЛЬНОГО
СОЧИНЕНИЯ**

Героиню Толстого
сердечно люблю,
весь роман — эпопея
на образах зиждется,
никогда не забыть,
как на первом балу
танцевала Наташа Ростова
со Штирлицем!



Е. Башарина. «Портрет клоуна». Офорт

